Алексей СМИРНОВ

ВИОЛОНЧЕЛЬ ЗА БУМАЖНОЙ СТЕНОЙ

НЕЗАМЕТНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Вот праздник, который виден издалека: на первомайском ветру тяжко пашут полотнища пурпурных знамен; раскачиваются свисающие донизу туго свитые вызолоченные кисти, а вечером в черном небе, восхищая взор, то тут, то там гигантскими хризантемами, цветными раскрывающимися веерами вспыхивают букеты артиллерийского фейерверка.

Или: новогодний, толкучий, елочный торг. Серебряный дождь, мерцающие бликами шары; толстые деды-Морозы с клубничным румянцем на жарких щеках – веселые деды́ в пухлых, подбитых ватой кафтанах. Сами елки – колючие, свежо и холодно пахнущие зимним лесом, плоско примятые от недавнего (пока везли) пеленания, не успевшие распрямиться, распушиться…

Есть у этих праздников свое место, свой срок. Ими правит если не сюжет, то, по крайней мере, расписание: в десять утра – парад, в одиннадцать – демонстрация, в десять вечера – салют. Куранты. Полночь…

А какой «сюжет» может быть у ранней весны, когда в сумерках выбегаешь из подъезда в редкие уличные огни, и волна беспричинного счастья обдает тебя просто оттого, что – вечер; оттого, что – весна; оттого, что каждый час непрожитой еще жизни завораживает и манит, полон предчувствий, предзнаменований? Этот праздник свершается в тебе. Он никому не заметен. Он ничем не предупреждает о своем приходе и заканчивается так же внезапно, как начался. Развернутое зрелище – не его стихия. Он не монументален, он моментален и потому его можно лишь попробовать уловить, набросать с натуры, с той волнующей реальности былого, что постоянно напоминает о себе, всплывая в памяти из глубин середины прошлого века.

ЧАСТЬ I

* * *

Не церковкой бедною
При скупом огне –
Я крещен Победою,
Вспыхнувшей в окне.

Полюби раскованность
Детства моего,
Красный дом с драконами
В стиле ар-нуво[1]*,*

Лестницу и грозный
Взлет ее перил.
Дух великой Крестной
Надо мной парил,

Зажигал оранжевым
Светом этажи,
Душу завораживал,
Лился в витражи.

Побродил я по свету
И пришел назад –
А на стеклах отсветы
До сих пор дрожат.

[1] **Ар-нуво** – художественное направление, возникшее на рубеже XIX и XX веков.

«КОХВЕЙ»

Осенью в доме Перцова греть батареи начинали не по погоде, а по календарю: планово.

Пухлый, одышливый татарин-комендант в полувоенном сером френче, напоминавший мне бежавшего из Китая старого гоминьдановца[2], если не самого Чан Кайши[3], полулежал, откинувшись, на протертом кожаном диване в вестибюле и вместо ответа жильцам на вопрос: «Когда затопят?», – жевал губами, выразительно скашивая глаза кверху, дескать, наверху видней… А няня сетовала на коменданта и подвластную ему котельную:

– Ишь, какой холод завернул, а оне топить-то и не думають! И об чем антиресно у их думá?..

Папа курил – «грелся» дымом, мама проветривала комнату от задымления («Дышать нечем!»), а Филипповна мерзла.

У нее, однако, были припасены три верных способа согреться.

Когда мама уезжала на работу, няня *первым долгом* захлопывала *хворточку*. Потом надевала шерстяную *кохточку*, аккуратно застегнув перед зеркалом пуговки и подвернув манжеты так, чтобы левый и правый отвороты были равны. И, наконец, решительно и радостно отправлялась на кухню заварить *кохвейку*. Этот *сугрев* изнутри был ей особенно приятен.

У русских нянь издавна сложились волнующие отношения с кофе. Некоторое недоверие и настороженность, вызванные заморским происхождением напитка, его крепостью и репутацией барского яства, благополучно уживались с благодарностью к его веселящему нраву, с верой в его всестороннюю *пользительность* и порой перерастали в настоящую страсть, постоянную и неутолимую потребность. Вот что говорит об этом неизвестный автор в книге старинных очерков «НАШИ, списанные с натуры

---

[2] **Гоминьдан** – китайская политическая партия, созданная в 1912 году.
[3] **Чан Кайши** (1887–1975) – президент Китайской Республики на Тайване, генералиссимус.

русскими»: «Страсть к кофе простирается в нянюшке до невероятия. Он ей почти тоже, что хлеб насущный. Она сама его жарит, мелет и, наконец, варит. Кто б ни пришел к ней в гости, нельзя не попотчевать кофеем. Она устала – «дай-ко выпью кофейку». – Она озябла – тоже лекарство. Ей что-то скучно, – она опять прибегает к нему же, как к единственному своему утешителю. Ей весело, – она спешит из кухни со своим кофейничком из красной меди и осторожно уклоняется от встречных, чтобы не взболтать ея сокровище… Старушки-няни точно как будто находят в нем какое-то целительное свойство от болезней и печалей».

Цвет, крепость, жар, вкус, аромат, легкая пенка, тонкий осадок, на котором можно гадать – все заставляет нас отдавать предпочтение кофе. Отношение к нему, как к живому, подвижному духу, традицию его заботливого приготовления и неторопливого, почтительного пития Филипповна словно унаследовала от прежних нянь и бережно хранила.

Правда, *кохвей*, который она пила сама и которым угощала меня, немало отличался от того, чем баловались в старину и что возродили теперь. Настоящий кофе вообще почитали едой, оттого и кушали, оттого и вкушали. А то, что пили мы с няней, являло собой неопределенный отвар желудевого цвета; нечто разжиженно-водянистое, почти без запаха и совсем без пенки; нечто под смутным названием «Кофе с цикорием», то есть «Желуди жареные с луговыми цветочками»; нечто, утратившее не только вкус, но и пол. Я был уверен, что кофе – оно, среднего рода, а поскольку на мой вопрос: «Кофе сварилось?» – няня могла ответить: «Сварилось, да убежало…», то и она при всей ее почтительности *такому* кофе в мужском роде отказывала. И она не ведала, куда девался тот терпкий настой, повыветрился тот дурманящий аромат, повыцвел сочный колер, что были достойны благородного «куштевания».

В каких венских кофейнях еще трогала губы жгучая бразильская горечь, вызывая учащенное сердцебиение гурманов? На каких стамбульских

базарах, под какими шатрами кочующих бедуинов пузырились плотные аравийские пеночки? Бог весть! А наш давно выдохшийся, бурый с проседью порошок доживал свой век в тусклой линялой пачке на полочке за занавеской. Он так плохо растворялся в кипятке, что всегда оставлял на стенках чашки грязноватые потеки, а на дне – густой осадок. О кофейных зернышках я знал тогда только понаслышке. Ни жарить, ни молоть нам было нечего, потому не требовалась и круглая ручная кофемолка, оставшаяся с дореволюционных времен – прабабушкина кофемолка, некогда перетиравшая зерна с тугим похрустыванием. Я порой крутил ее просто так, вхолостую, но работа без преодоления и без результата, обычная в мире взрослых, казалась мне нелепой и я бросал кофемолку, не намолов и горстки воздуха.

Зато кофейник у Филипповны не простаивал ни дня! Другое дело, что место славного кувшинчика из «красной меди» занимал дюралевый сосуд, чутко тянувший вверх свою тонкую шейку с изогнутым на конце носиком, что делало его похожим на маленького разгоряченного гусенка. Нагревшись над конфоркой, он пыхал из носика паром, а чуть проворонь – мог и убежать: приподнимет крышку да плеснет из-под нее бурой грязью, загваздав плиту. Строптивый кофейный норов был Филипповне хорошо знаком и, тем не менее, каждый раз удивлял ее. Способность кофе внезапно переселиться через край или, по-няниному, *шарнуть* постоянно смущала ее и даже держала в некотором страхе.

– Филипповна, у вас кофе убегает! – весело кричит, бывало, сосед Сверчков, оттягивая на плечах крепкие подтяжки карьерного дипкурьера. Но газ при этом не выключает – ждет, пока няня, всполошившись, сама доковыляет до кофейничка.

– Ах, ты, мать честнáя!.. Никак его не укараулишь…

Из опыта Филипповны я знал, что кофе – большой шалун, настоящий *рикошетник* («Навроди тебе…») Пока над ним стоишь, он не закипает и не

закипает («Хыть цельный день простой!»), хоть как верти кофейник над огнем. *Кохвей* ведет себя, словно комендант на диване: скашивает глаза на крышку и ни тпру, ни ну. Но попробуй только на секундочку отвернуться – тут-то он как раз и вскипит, причем вскипит моментально («И усю плиту вычудить!») Этот почтенный старец с душой озорника невольно заставлял няню быть настороже. Долго гневаться на него она не могла из уважения к его сединам, богатому прошлому и знатному происхождению. (То, что нам достался желудевый отпрыск кофейной династии, никогда не подчеркивалось, пусть и придавало всей церемонии легкий налет мелкопоместности). Но и спускать ему с рук его баловство няня не желала. Что же ей оставалось делать? Ей оставалось лишь пристально следить за поведением старика-«рикошетника».

Итак, *хворточка* прихлопнута, *кохточка* надета.

– А и где же наш *кохвеечек*?

Пора, пора покофейничать!

Вот Филипповна нагревает в узком сосуде темную воду ожидания, аккуратно натрушивает на поверхность немного *прашка* из пачки и, прикрыв крышкой, предвидит тот момент, когда *кохвей* начнет *ускипать…*

Няня внимательно (*унюмательно!*) склонилась над кофейником. Взгляд ее добр, теплы ее руки, велико долготерпение. «Гусенок» с изогнутым клювом кажется совершенно бесчувственным к огню. *Кохвей*, разумеется, только и мечтает о том, как бы поиграть у няня *на неврах*, вовсе не думая ни о каком закипании.

– Нянь, скоро кофе сварится? – спрашиваю, сунув нос на кухню.

– Да почем же я знаю? Спроси у него…

– А ты прибавь газку.

– Чичас и шарнить.

– Прибавь, а потом убавь.

– Вот я и держу его за хвост.

– Прибавила?

– Убавила. Чуть дышить… Еле-еле душа у теле…

– А можно все-таки побыстрей?

– Терпи. Нетути у тебе терпежу никакого.

– Хочется…

– Мало́ ли бы что: хотца… Что ж мне теперьча прикажешь самой на огонь сесть?

Лицо у няни раскраснелось от ожидания и жара. Такая сосредоточенность ей невмоготу, да очень уж самой *кохвейку хотца*: нельзя упустить!

Наконец, кофейник зашумел, загудел, напрягся. На дне завозились первые пузыри. Сейчас они побегут вверх, сперва прокрадываясь ощупью по стеночкам, с краюшку, бочком-бочком, как стеснительные, а потом сдвинутся на середину, сгрудятся в крупные грозди, чтобы, напирая, бурля и клокоча, заставить кофейник содрогнуться и вдруг – с маху – поднимут черную шапку гущи – мохнатую, как папаха абрека; шапку, насквозь пронизанную порами пены, точно каракуль седыми искрами, и – *шарнут через*!

Еще минута… Еще секундочка… И тут в коридоре за нашей дверью звонит телефон. Общий, коммунальный.

Согласно няниной иерархии *телехвон* главней, чем *кохвей*, потому что *сурьезней*. Телефон действует на Филипповну неотразимо: где бы она ни была, что бы ни делала, по первому сигналу няня бросает все и устремляется к трубке. Но *кохвей* бежит еще быстрей. Дистанция, которую он должен преодолеть, чтобы *вычудить усю плиту*, гораздо короче няниного пути от кухни до *телехвона*, а энергии у *кохвея* куда больше, ведь он нагрет уже почти до кипения! Почти…

– А может усе-тки успею?..

Няня предполагает успеть. Она надеется и трубку ухватить, и кофе удержать. Человек предполагает, а Бог располагает…

Поймав трубку, выскользнувшую было рыбкой из рук, но повисшую, как на леске, на распрямившейся пружинке шнура, подсунув мембрану к правому уху под платочек, левым она слышит неудержимо нарастающий гул кофейника, дребезжанье прыгающей крышки, выброс пара и вслед за тем змеиное шипенье кофейной гущи, оползающей по наружным стенкам, заливающей пламя, пульсирующей из носика на плиту…

– Обождитя, обождитя!.. У мене кохвей бежить!..

– Да уж убежал! – кричит с кухни Сверчков, широким жестом оплывшего на покое гимнаста стягивая с плеч чемпионские помочи и великодушно выключая газ.

Остатки напитка со скорбной торжественностью проносятся по коридору. Впереди собственной персоной плывет кофейник, с ним – Филипповна, за ней – Сверчков, спустив по бокам кольца подтяжек и сворачивая к себе в комнату. За ним, но к себе, – я.

Няня влажной тряпкой обтирает со стенок кофейника гущу, как горячую грязь, убежавшую из-под крышки, и водружает сосуд посреди стола на согнутую железным цветком плоскую подставку.

Печальная музыка тишины…

– Дак телехвон же зазвонел прямо у етот момент, врах его возьми!

Няня удручена, а я, наоборот, восхищен тем, что телефонная трель угодила в самое «яблочко»: ни до, ни после вскипания, а в такт с ним, как будто кто-то нарочно подкараулил! Между прочим, звонили не нам. Перепутав цифры, добивались посольства дружественной Эфиопии, просили секретаря, и Филипповна, расстроенная неудачной варкой, вызвала на переговоры соседа Сверчкова. Разобравшись, куда звонят, и сообразив, что абонент – иностранец, пытающийся говорить языком аборигенов, дипкурьер

мобилизовал свой английский, однако подчинил ему лишь форму высказывания, тогда как словарь произвольно смешал:

– Простите… э-э… мистер секретарь есть в ауте. А это вообще… э-э… есть приватная квартира. Вы держите не ту линию.

Такой язык – английский по форме и преимущественно русский по словарю внушал Филипповне дополнительное уважение к соседу. В ее глазах дипкурьер был носителем как бы трех языков: на родине он говорил по-русски, за рубежом – по-английски, а на родине с иностранцами – как сейчас. Получалось, что Сверчков – полиглот! Наверно, потому няня и кивнула в сторону его стенки, обращаясь ко мне:

– Вучись, дите, светлым будешь.

Даже забеленный молоком, кофе горяч. Мы шумно вытягиваем его из блюдец вместе с воздухом.

– Прихлебывай, птушенька, прихлебывай, – поощряет Филипповна.

Пьем отвар, остужаем его, а по пути, вспоминаем перипетии минувшего. Именно это и важно для нас; вопрос же о качестве пития вообще не стоит. Оно не имеет никакого отношения к делу. Оно соотносится с нами так же, как на языке Сверчкова посольский секретарь – с нашей квартирой: «Мистер… э-э… Кволити[4] есть в ауте».

Для вкуса я макаю в блюдечко твердый сахарок и слежу за тем, как, всасывая кофе, рафинад меняет цвет, темнеет, разбухает, рыхлится, дробясь на крупинки, из *каляного* делается мягким, рассыпчатым, а когда впитываешь его в себя, растворяется во рту.

Откофейничав, согревшись, няня успокаивается, утирает уголки губ белой лапкой ситцевого платочка и переворачивает чашку вверх дном.

Сейчас гадать будет.

---

[4] **Quality** (*англ.*) – качество.

– Ну, смотри… Увидал что ай нет? – спрашивает, указывая на жиденькие кофейные потеки по стенкам, на мутные коричневатые разводы в мелких семечках оставшейся гущи.

– Ничего, – отвечаю чистосердечно.

– Вишь, тута вроди жирахв какой шею тянеть… Али женьшина руку подняла… Ну, а так? – няня поворачивает чашку боком. – Так навроди клешши раскрылись… Помилуй Бог! А у тебя? Дай гляну.

Она смотрит на мой кофейный узор. Молчит. Представляет, что бы он мог означать.

– А у тебя птица летить, ишь, крыльями машеть… А тут унизу быдто собака притулилась.

– Ну, и что – притулилась? К чему это?

– А и кто ж его знаить – к чему? Предполагать можно…

Няня колышет кофейник, взбаламучивая придонную жижу. Со вздохом ставит на место.

– Человек, говорять, предполагаить, а Господь располагаить. Вот тебе и увесь кохвей.

НА САНОЧКАХ

А зима? Сколько радости было зимой в одних только катаниях на санках!

Горка посреди сквера, на которую взрослый забирался в четыре широких шага, тебе, дошкольнику, казалась настоящей горой, высокой-превысокой. Покорить ее было нелегко.

Сперва волочишь санки позади себя за веревочку. Споткнулся. Оступился. Веревка вырвалась – санки поехали вниз. Спустился за ними. Снова тянешь в гору. Поскользнулся. Упал. Поднялся. Пополз на коленках. Достиг!

Целое действо. Стоишь на макушке горы, поглядывая по сторонам победно: сзади – церковь, справа – твой дом, впереди – Кремль, над головой – облака. А что за ними – в небе?

– На небеси усе есть, чево хошь, – говорит няня.

– И церковь? И наш дом? И Кремль?

– А то как же…

– А почему же я их не вижу?

– Мал ишшо. Дите. Вот и не видать. Вырастешь – увидишь.

Я подставляю под ноги саночки, встаю на них, чтобы приблизиться к небу, но все равно кроме облаков не вижу ничего.

Эх! Хватаю санки в руки и, плюхнувшись на пузо, скатываюсь с горы.

У меня сани «мальчишечьи» – без спинки. Это «девчоночьи» со спинкой. Девочки чинно спускаются сидя. А мы разбегаемся и с размаху – хлоп на живот: красота!

Накатаешься до седьмого пота, до того, что тебя качает. Вернешься домой и с порога: – Пить хочу! – опустошаешь упитанный графинчик из густо-синего, почти ночного стекла с золотыми звездами – подарок папе от офицеров-сослуживцев. Вокруг графина на подносе – шесть рюмок. Но воду в них не льешь – некогда. Пить хочется! И поспешно глотаешь, глотаешь, глотаешь через широкий уточкин носик графина, словно боишься, что отнимут.

– Да что ж ты усе дуешь и дуешь, как вутка? – проворчит Филипповна. – Споддыхни, хватить. Брось грахвин, непослушник! На тебе воды не напасесси.

Оторвешься от горлышка, переводя зашедшееся дыхание, ведь пил на одном вдохе, и воскликнешь, оторопев:

– Еще хочу!

А вечерами, когда ты был совсем маленьким, – помнишь? – Филипповна упаковывала тебя в овчинную шубку, валенки, шарф, надевала шапку с ушами, помогала лечь на санки и везла, как тючок, по размешанному пешеходами снежку – погулять перед сном.

Там, где снег был протерт до асфальта, веревочка саней туго натягивалась, и полозья, издавая занудный визг, тупо скрежетали по камню. Зато, въехав на нетоптанный пушистый покров, точно вздохнув с облегчением, убыстряли бег, а по обледенелому насту катили так, что только держись – и-их!.. Няня бросала веревку, и санки мчались

сами с тобой, как с Емелюшкой по-щучьему велению, пока это веление не иссякало в каком-нибудь рыхлом сугробе.

Иногда ваш путь пролегал по набережной вдоль освещенной розовым светом кремлевской стены. Ты лежал на животе головой вперед и смотрел вниз. Полозья наезжали на широкие следы няниных валенок. Ты поднимал глаза и видел серые войлочные пятки с неровной каемкой снега. Они были подшиты кожей, как двумя полусолнышками и мерно переступали перед тобой, то приподнимаясь, то оседая в снег: левая – правая, левая – правая…

Порой саночки виляли, объезжая следы. Это няня меняла руку. Потом ты переворачивался головой назад и вместо крепко скрипящих валенок видел две тоненьких извилистых колеи от железных полозьев. Один раз тебе почудилось, как будто ты упал с санок, а няня не заметила и уезжает, а ты лежишь на снегу, не в силах ни закричать, ни пошевелиться, а она уезжает, уезжает… А еще тебе нравилось на ходу опустить руки в снег и рядом с линиями полозьев оставлять следы своих рук, пока колючий холодок не начнет набиваться в варежки. Филипповна, почувствовав, что движение чуть затруднилось, обернется и спросит:

– Куды ручки у снех усунул? Чичас отморозишь…

И ты переворачиваешься на бочок. Над тобой нависают ветки, полные снега. Плывут зубцы и бойницы кремлевской стены. Есть в них что-то грозное, хмурое и вместе с тем веет от них каким-то теплом, защитой, даже уютом – ведь они так близко от дома!

Над угловой Водовзводной башней неподвижно горит пятиконечный рубин. Но если повернуться на спину, притворить ресницы и поморгать, то звезда начнет лучиться, как живая.

А выше – в небе – теплятся настоящие звездочки морозной зимы – такие же маленькие, как ты. А, может быть, и там кто-то едет на саночках об эту пору вдоль укреплений Небесного Кремля, ведь совсем не хочется знать, что там ничего нет; хочется верить, что есть, – есть, и река, и набережная, и Кремль, и Филипповна, и ты сам – только какой-то другой – сияющий и завороженный, тихо скользящий по насту созвездий, цепляющий рукавичками за звезды, осыпающий их вокруг себя в густо-синее до черноты небо…

НОЧНОЙ ЗЕФИР

С возрастом бабушка пополнела. Она стеснялась своей полноты и говорила, что ее губят сладкое и мучное. В гостях или принимая гостей она проявляла щепетильность, как бы и не ела вовсе, а лишь дегустировала по чуть-чуть, почти рецептурными дозами, с некоторой церемонностью:

– Нет-нет, этого мне нельзя. И от этого я воздержусь. А вот это, пожалуй, попробую, только совсем немножечко…

– Валентина Ефимовна, какая же у вас воля! – удивлялись гости.

Однажды на глазу у бабушки выскочил ячмень, она прикрыла его черной косой повязкой и, победно оглядев одним глазом родственное застолье, попросила передать ей не что-нибудь, а «тоненький кусочек черного хлеба, лучше краюшечку (она почерствей)», на что папа заметил:

– Мам, ты у нас, как Кутузов. С горбушкой бородинского.

Фирменным угощением бабушки были витые плюшки, нашпигованные изюмом и усеянные кристалликами сахарного песка на румяных промасляных завитках. Бабушка пекла их в особых случаях или к редким праздникам, но уж если пекла, то в огромном количестве, наполняя ими стеклянные вазы на пианино, в буфете и на столе.

Много лет она проработала рентгенотехником в рентгенологическом кабинете, имевшем отношение к какой-то крупной кондитерской фабрике. Теперь она иногда мягко жаловалась на те искушения, которые ей приходилось преодолевать. Благодарные пациентки регулярно преподносили ей изделия собственного производства: свежайшие «Трюфели», коробочки заварных эклеров, кексы, крошащиеся коржи густо промазанных кремом «Наполеонов». И никак нельзя было отказаться… В итоге борьба с кондитерскими обольщениями выработала у бабушки весьма избирательное отношение к трапезе.

Что касается меня, то вкусное я любил, и даже очень, но еда не была для меня делом жизни. Особенно еда будничная. Не только подостывшая и загустевшая манная каша с комочками слипшейся крупы, или вареная луковица в супе, или теплое сальце во время летнего пикника на берегу Серебрянки не вызывали во мне никакого энтузиазма, но и что-то более аппетитное я спокойно мог променять на беготню, барахтанье в речке или радиопередачу.

В то блаженное время, когда, по словам папы, я ходил пешком под стол в полный рост, а читать не умел, все сведения об окружающем мире пешеход черпал, в основном, из передач всесоюзного радио. Они были ему малопонятны, сливаясь в некий

трансцендентный гул, в нечто, лежащее за пределами его опыта, но этот гул, но сама таинственность сообщаемого увлекали порой, как что-то, теряющееся за горизонтом детского разумения. И когда сильный, мужественный голос пел:

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир, –

это воспринималось не как картина природы, а как заклинание.

Поначалу до сознания доходило только:

Ночной……
Струит…….
Шумит,
Бежит…
……

Потом я узнал, что «зефир» – это западный ветер, мягкий и ласковый, а «эфир» – тончайшая материя, заполняющая мировое пространство, но кто кого струит – зефир эфир или эфир зефир – оставалось неясным. Разгадывать же магическое слово «Гвадалквивир» мне даже в голову не приходило, словно я чувствовал, что, как тайна, оно волнует меня, а, будучи объясненным, может утратить свое очарование. Поэзии так же трудно идти в ногу с прозой, как тайне с ясностью. Поэзия либо обгоняет прозу, либо безнадежно отстает, стреноженная путами жизни.

Посреди зимы у нас в доме отключили горячую воду, а купаться было надо. Тащить меня с собой в «Сандуны» папа отказался. Он не мог брать на себя такую ответственность: «Там же кипяток!» Тогда у мамы и возникла идея отправить нас с няней к бабушке. У нее горячую воду не отключали. И отправились мы не просто так, а с ночевкой, чтобы не простудиться после купанья.

Бабушка жила у Никитских ворот, на улице Станиславского или, по-нынешнему, в Леонтьевском переулке. Ее дом напоминал прямоугольно начертанную букву «О» с разрезом для ворот и внутренним двориком. По той же лестничной клетке с бабушкой

соседствовала ее родная сестра, Надежда Ефимовна, так что поездка к бабушке становилась одновременно и поездкой к тете Дине и ее мужу, полковнику Даниле Васильевичу Задорову – дяде Доне. Собственно тетей и дядей они были для моих родителей, а я был их внучатым племянником, но в русской традиции не бывает тетей-бабушек и дядей-дедушек. И для просто племянников и для внучатых племянников они равно остаются тетями и дядями.

Мне такая поездка представлялась большим развлечением, но еще бóльшим развлечением она оказалась для Филипповны.

Няня, как человек неграмотный, питала чрезвычайное уважение к людям ученым, – не только к людям науки, но ко всем, кто вообще знал грамоту. Подозреваю, что наука начиналась для нее уже с имени, отчества и фамилии человека – с таким почтением она их произносила, а, когда знакомилась, повторяла про себя, чтобы не ошибиться: «Валентина Ехимовна. Смирнова… Надежда Ехимовна… Данила Василич Задоров… Лександра Леопóвич… А то ишшо Леф Лександрович… Ето ж надоть: Леф!..»

Бабушке и тете Дине помогала по хозяйству Санечка. В 20-х годах приехала она в Москву девочкой из мордовской деревни и попала в нашу семью. Нянчила еще моего папу, с тех пор так Санечкой и осталась. Говорила она нараспев, была не в ладах с грамматикой, всю жизнь путая мужской род с женским, отличалась нравом строгим, платья носила темные и постепенно стала совершенной монахиней в миру, но «со своим жанром».

На улице лютовал мороз, зато бабушкина квартира встретила нас теплом, а кухня – сладким ароматом разогретой духовки. Бабушка расцеловала меня и продолжила подготовку к ужину, а Санечка, стоя, обняла, предлагая кресло Филипповне, которой предстояло принять ванну. Кстати, это выражение – «принять ванну» – как-то меня смущало. Разве *мы* ее принимаем? Это *она* принимает нас. Она же стоит на месте, как стояла, а мы к ней приехали. Она – хозяйка, мы – гости. Как можно гостям принять хозяйку в ее же доме? А на нянином языке слово «принять» вообще означало «убрать». Она могла попросить меня: «Ну-ка, милок, прими ети кубики с проходу», – значит, убери…

У детства свои предпочтения, в том числе касающиеся мира вещей. Из всех вещей тети Дининой квартиры главным по впечатлению оставались для меня немецкие напольные часы, стоявшие в комнате перед дверью из прихожей. Приотворишь стеклянную створку и увидишь узкий шкаф из темного дерева, овальный наверху, с круглым, как лицо монгола, медно-желтым циферблатом и длинными черными стрелками.

Силуэт у часов почти человеческий: не часы, а часовой. Маятник – едва ли ни до полу – ритмично покачивается влево и вправо, как будто часовой переминается с ноги на ногу. К тому же каждый час он подает голос. Вначале шумно вздыхает, шипит, сопит, долго набирает воздуха в грудь и, наконец, издает медленный медный бой – гулкий и басовитый. Сопровождаемый перезвонами мелких колокольцев, бой этот растекается по всей квартире, пока ни затихнет где-нибудь в дальних углах до следующего часа. А маятник продолжает отмерять такты влево-вправо, влево-вправо, словно повторяя вслух имена хозяев дома:

– Дина-Доня… Дин-Дон…

Дина-Доня… Дин-Дон…

Кстати, схожесть их имен подкрепилась и сходством фамилий. Тетя Дина была урожденной Бодровой, а в замужестве – Задоровой. Хорошо, выйдя замуж, сменить бодрость на задор!

* * *

Между тем ванны приняты. Настает черед застолью.

Стол уставлен расписными чашками из тонкого фарфора, вазочками с абрикосовым вареньем, вазами, полными плюшек. На столе – бутылка кагора, а в центре – блюдо с целой пирамидой зефира крем-брюле, любимого бабушкиного лакомства.

Неожиданно между ней и сестрой вспыхивает легкая перепалка из-за чайника:

– Валя, зачем ты этот чайник подала?

– А что такого? Нормальный чайник. Чем он тебе не нравится?

– Нормальный? Не люблю я его. Смотри, какой у него носик короткий. Как у сифилитика.

– Я так и знала, что ты это скажешь!

А Санечка, глядя на меня, покачивает головой в ситцевом платке и словно распевает от умиления:

– Ай, Алеша-Алеша, и как же ты выросла, и какая же ты стала большая… Скоро Филипповну перерастешь.

– Да я уж вниз расту, к земле гнусь, – отзывается няня.

Дядя Доня, улыбаясь, достает откуда-то из-под стола четвертинку и ставит неподалеку от себя, покосившись на жену. У них с тетей Диной интересная игра: в доме нигде не видно водки, но, как только начинается какой-нибудь праздник, она немедленно появляется на столе. Секрет этого домашнего фокуса откроется мне позже. Данила

Васильич всегда имел в загашнике пару-тройку бутылочек на торжественный случай, а загашником ему служили часы. Он прятал зелье в ногах у «часового» и был уверен, что тетя Дина ни о чем не догадывается. Она, однако, давно распознала этот тайник, но делала вид, что ничего не замечает. Так Данила Васильич тешился своей «военной хитростью», а Надежда Ефимовна радовалась тому, что он тешится, не ведая, что его хитрость разоблачена.

Когда приходит пора разливать, выясняется, что няня, как «верушшая», не пьет «ни чуточки»; Сане, как верующей, тоже не предложишь; а я, к вере не относящийся, не пью по малолетству и по отсутствию природной склонности. Зато ни кто иная, как бабушка, настаивает на том, что кагор – церковное вино и потому его можно пить и верующим, и неверующим. А если по чуть-чуть, то даже детям. Это – ее компромисс. В стране повсеместных возлеяний и безбожия церковное вино продается в любом гастрономе. Людям позволено смачивать кагором сухость безверия, а праздничному хмелю разрешается нарушать вынужденную трезвость повседневности.

Сестры чокаются с дядей Доней, который уже успел под шумок потревожить покой четвертинки.

Няня пробует плюшку:

– Ишь, так и дышить…

Я разламываю зефирину на две половинки и прикладываю их к ушам, как радист наушники, то свободней, то плотней. От этого голоса взрослых потешно прерываются и возникают снова. Теперь у меня свой «эфир»!

Тетя Дина: «Донька, и отку… ты их …лько таскаешь, …ои …вертинки? Ну? Признавайся…»

Дядя Доня: «Как отку…? Из «Елисе…», …зве ты не знаешь?..»

Тетя Дина: «Я давно хо …бе …азать. Давай часы продадим? Они мне …ать мешают. Всю ночь …нят и звонят».

Дядя Доня: «Как продадим? Ты что?!. Лучше я их бу… очью … авливать».

Няня строго на меня смотрит. Будь мы наедине, уж она бы меня отчитала:

– Положи, зехвир, рикошетник! Ишь чего учудил, несмысленый: к вушам прикладать!

– Это – радио.

– Какое тебе радива? Положь, говорю, на место, непослушник, покули к вушам не прилипло! Едой не играють. А то маме пожалюсь, усе доскажу. Будеть тебе «радива»…

Однако в присутствии родственников Филипповна только мягко сетует, как бы прося снизойти к моему возрасту:

– Другой раз такое удумаить: и смех и грех. Несмысленый…

Бабушка всех угощает, а сама почти ничего не ест. Отщипнет виточек плюшки, слижет вареньице с кончика ложки, а зефир – ни-ни! Несколько рюмочек кагора заставили бабушку приятно порозоветь, вспомнить родной Кирсанов, женскую гимназию, любимую подругу Марью Клавдиевну…

Я откусываю по очереди от каждого наушника, держа их в ладошках. Когда от зефира не остается ни крошечки, мне хочется спросить бабушку: «А кто был папой у Марьи Клавдиевны? Тетя Клава?», но спать мне хочется еще больше, чем спрашивать, и меня, качающегося от всех впечатлений этого долгого вечера, ведут к раскладушке.

* * *

Спустя несколько дней Филипповна спросила, не видел ли я чего ночью, когда мы были у бабушки. Удостоверившись, что крепко спал и не видел, она умолкла, но чувствовалось, что ей не терпится поделиться со мной чем-то необыкновенным, тем, что я проспал, а она – нет.

Филипповна ходила-ходила вокруг меня, а потом все-таки не выдержала:

– Ну, слушай, чего я тебе расскажу. Кады усе разошлись, гости-то, я спать уклалась на диванчике, и Валентина Ехимовна тоже разделась, укладается у себе на карвати. Свет потушила, ланпочку. Навроде как спить. И я заснула.

Сколько там уремени прошло не знаю, только у во снях мене деется, быдто хто по комнате шаркаить. Туды-сюды. Туды-сюды. Батюшки мои!.. А я уж тута и проснулась. Гляжу: ланпочка маленькая опять горить. Валентина Ехимовна у платье, как при гостях была, открываить бухвет, достаеть оттудова посуду, чайник, брикосовое варенье. Плюшки вытаскиваить, зехвир, и усе на стол стано́вить. Никак чай пить собралась? Я прижухла, не ворохаюсь. А она-то, примечай, за стол садится, чаю себе наливаить, варенье в розеточку накладываить. К одной плюшке прикачнулась, к другой присуседилась… Ишшо чаю подливаить. Глянь-кось, уже и к зехвиру подобралась… Усе поела, попила и снова спать ложится, быдто ничего и не было́!

Филипповна поражена, а я нет. Что тут такого? Есть захотелось, вот и поела.

– Дак посередь ночи́, кады усе спять! Вумник! Ты подумай головой своей: хто по ночам зехвир кушаить?

– Ну, и что? Она же весь вечер гостей потчевала.

– А сама?

– А сама стеснялась. А потом ей захотелось.

– Усе рамно – грех.

– Какой грех?

– Обнаковенный…

Река жизни для меня еще только начала свой бег, она не успела удалиться от истоков, а сколько событий, впечатлений, загадок несут с собой ее шумные воды!

Оказывается: это не ванна нас принимает, это мы принимаем ее.

Оказывается: тетя Дина знает, что дядя Доня прячет шкалики в часах, но делает вид, что не знает. А, может, и он только делает вид, что она не знает?

А бабушкино тайноядение? Разве она монашка, которая не в силах побороть тяготы поста и потому вынуждена, скрываясь от сестер, преступать запретную черту, когда ее никто не видит? Бабушка всех угощала, а сама воздерживалась. Она так захотела. А потом расхотела воздерживаться… Но что за черту она преступила? Только ту, которую начертила себе сама или какую-то общепринятую?

А Марья Клавдиевна? Почему «Клавдиевна»? Как зовут ее папу? Мужчины Клавами не бывают!

Клавдия мне уже встречалась, а Клавдий еще поджидает где-то ниже по течению, на каких-то неведомых берегах…

Шумит, бежит Гвадалквивир…

«ГАГИ»

Цветочная клумба-конус посреди сквера напротив нашего дома – клумба, ступить на которую летом нечего было и думать, с началом зимы превращалась в снежную горку с ледяной дорожкой, и мы, ребятня, облепляли ее от подножья до вершины. С горки катались на санках, съезжали на вертящихся тощих картонках по льду, устраивая внизу кучу-малу. Но все это были лишь «цветочки», и только когда подмораживало как следует, когда со склонов сдувало лишний снег, а наст делался твердым, катучим, – почти, как лед, – только тогда из окрестных подъездов на негнущихся, точно ходульки, заметно вытянувшихся ножках медленно и важно выступали наши чемпионы, наши конькобежцы

– румяная, тугая, как бутон, первоклашка Ирэн из девятой квартиры; краса подвалов бледнолицый Пантелей; поджаристый, как сухарь, чернявый цыганенок Бочарик…

Каждый их шаг по направлению к горе внятно говорил о том, что они саночникам не чета. Что санки по сравнению с их увлечением – стремительным и опасным? И если мы падаем со своих приземистых салазок, то каково им, конькобежцам, удерживаться в вертикальном положении? Мы прочно пластаемся над широкими полозьями, а они, бегуны, там, наверху, на юру, открытые всем ветрам, качаются на узких, шатучих лезвиях, норовящих выскользнуть из-под ног… В общем, примотанные к валенкам, туго-натуго закрученные палочками «снегурки» с носками, завернутыми наподобие древнерусских ладей, ставили их владельцев на голову выше нас. А у Бочарика были даже не «снегурочки», а вообще не выговорить: двухполозный «английский спорт»!

К числу моих любимых радиопередач уже прибавилась новая: «Внимание, на старт!..» Она начиналась в полпятого, в зимних незаметно сгущавшихся сумерках, когда зажигались уютные огни и в них искрились, проблескивая, легко сновавшие за окном снежинки, казалось убыстрявшие свой полет в волнах упруго звенящего марша:

Внимание, на старт!..
Нас дорожка зовет беговая.
Внимание, на старт!..
Пусть вдогонку нам ветер летит.

И я мысленно устремлялся на неведомые вечерние катки, в их вдохновенную сумятицу, музыку, лоск шумно и резко расчирканного лезвиями льда…

Дома, корпя над уроками, я принялся усердно рисовать шершавым школьным перышком на рыхлых промокашках закругленные, как качалочки, «канады», высокие «гаги», длинные «норвеги», похожие на отточенные кинжалы, а поперек промокашки выписывал через «а» волшебно расплывавшееся слово: «каньки».

– Что ж ты коньки через «а» пишешь, грамотей? – спрашивал папа, машинально заглядывая ко мне в тетрадку. – Или не знаешь, как проверить?

– Знаю.

– Какое проверочное слово?

– Каток…

– Сам ты «каток»… Не каток, а конь. Кони. Два конька. Значит, как надо написать?

– Значит, надо коньки.

– Исправь.

И здесь же на промокашке я проделывал «работу над ошибками», любовно и прилежно вытягивая освященную папиным авторитетом строчку: «коньки – коньки – коньки – коньки…»

У меня была такая примета: если мне чего-то ужасно хотелось, я убеждал себя, что это никогда не произойдет. «Нет, нет, нет!» – твердил я про себя, как заклятье, и тогда желание сбывалось.

– Никогда мне не подарят коньки, ни за что! Не будет тебе никаких коньков! – повторял я шепотом, чтобы никто не услыхал, ведь свою мечту я хранил в тайне и мне казалось, что и впрямь никто о ней не догадывается.

Между тем настало 5 февраля – мой день рождения. Обычно подарки мне клали на стул возле кушетки поздно вечером, когда я засыпал. В то утро, проснувшись, но, не раскрывая глаз, я в последний раз произнес магическое заклятье, призывая родителей внять моим мольбам и ни за что на свете не дарить… все, что угодно, любой другой подарок, только не…

На стуле рядом с вязаными варежками лежали новенькие «гаги»!

* * *

Выходить с коньками на сквер было, по папиным словам, *не серьезно*: учиться кататься следовало на катке. У папы коньки были, у мамы тоже, правда, держаться на них мама не умела.

– Вот вместе и поучитесь, – сказал папа. – А то можем и Филипповну с собой прихватить…

– У мене коньков нетути, – ответила няня, улыбаясь.

– Ничего. Там напрокат дадут.

– Как ето «напрокат»?

– Прокатиться.

– Ишь, чего удумали: «напрокат»! Да я по протувару-то хожу-качаюсь, как бы не осклизнуться, а тут: «напрокат»…

– А на какой каток мы поедем? – спросил я.

– Давайте в Парк культуры! – предложил папа.

– Имени Горького?!

– На каток для начинающих.

Однако в Парк культуры мы не поехали. Мы туда пошли. Пешком. Вечером в ближайшую субботу втроем с тремя парами «гаг» покинули мы дом Перцова, завернули направо на набережную и, шагая вдоль реки, миновали игрушечное, аккуратно-низенькое монгольское посольство, французскую военную миссию, длинный завод, зимой и летом припорошенный белесой цементной пылью и остроугольный «American Hause»[5], чтобы высоко подняться на Крымский, украшенный висячими опорами мост, откуда виден был весь парк – иллюминированный, веселый, клубившийся в прожекторах морозной пылью, заставлявший волноваться, услышав отдаленные наплывы музыки – тот самый Парк, *не* попасть в который я «мечтал» так же горячо, как и *не* получить в подарок коньки!

У входа работала точильная мастерская. Она изготовляла, клепала, затачивала… Лохматый точильщик в прожженном фартуке зажал кургузыми пальцами мои драгоценные конечки и, пританцовывая перед бешено вертевшимся камнем как шаман, осы́пал их искрами радужно расцветшей крошащейся стали.

– Бр-ритвы, а не «гаги»! Из Гааги, – одобрил папа, коснувшись кромок.

Мы шли по заснеженным пешеходным дорожкам парка, пересекали ледяные аллеи, лавируя между катающейся публикой. Из-за наших спин вышныривали мальчишки. Крест-накрест взявшись за руки, в горделивом молчании мимо проплыла какая-то пожилая пара. Черными торпедами мощно пронзали воздух «спецы» на «ножах». Мама вздрагивала:

– Ой… Как я их боюсь!.. Они тут так вжикают…

На отдельном катке за сеткой тренировались подтянутые фигуристы. Они выделывали свои пируэты (прыжки, «ласточки», «пистолетики») с такой раскованностью, что моя робость: «Как я встану на лед?» – совершенно улетучилась. «Так и встану. Легко и просто!»

Каток для начинающих, тоже огороженный, приветствовал нас «Вальсом цветов» Чайковского и принял в объятия жарко натопленной раздевалки с дощатыми полами. Мы уселись на пустую скамью. Зашнуровав три пары «гаг», папа несколько утомился и поскучнел, но кататься ему не расхотелось.

С усилием я поднялся на ноги и почувствовал себя довольно неустойчиво. Новичка покачивало, точно Филипповну на *протуваре.* Он неловко переступал по мягкому полу, держась за спинку скамейки.

---

[5] **«American Hause»** (*англ.*) – «Американский дом».

Не без труда папа вывел нас с мамой на лед, который начинался сразу от порога раздевалки и полностью отвечал своему основному свойству: был скользким. Оступавшиеся еще на полу, теперь мы просто вцепились в папины рукава с обеих сторон, неизвестно, кто крепче. Дергаясь и спотыкаясь, то нелепо выворачиваясь на сторону, то схлопываясь, как клоуны, мы одной неразлучной семьей доковыляли до первого попавшегося сугроба на краю катка, куда и были поставлены нашим ведомым, точнее, водружены им наподобие памятника спортивной славы. В снегу я вновь обрел относительную устойчивость и огляделся по сторонам.

Каток был великолепен! Идеально залитый лед переливался, отсверкивая цветными огоньками, синел, как затвердевший кусок неба и был лишь слегка расцарапан стрелками коньков. Оживленный хоровод нарядно скользил по кругу теперь уже под мелодию «Венского вальса». Кто умел держаться на коньках, держался, покачиваемый музыкой Штрауса; кто не умел, сидел в креслице на высоких полозьях и его катали: приятно, протяжно, с легким ветерком.

– Я хочу в креслице! – сказала мама.

– И я тоже…

Папа пригнал два незанятых кресла, чтобы, – ну, совсем другое дело! – мы, начали по-настоящему кататься. Маму такой способ обучения устраивал вполне, а мне удовольствие от удобного скольжения сидя подпорчивала мысль о том, что пересесть с санок в кресло – не фокус, а вот как бы на ноги встать? Впрочем, такая возможность представилась очень скоро.

Немножко побаловав нас, папа отказался от роли добровольного рикши, предложил самим катать креслица и умчался по кругу.

Катать пустое кресло, может быть, и лучше, чем вообще остаться без опоры, но хуже, чем восседать на гладких реечках подвижного трона. Мы с мамой поторкались-поторкались взад-вперед, ненароком переча общему движению, попробовали повозить друг дружку и даже рискнули проехаться, взявшись крест-накрест за руки, отчего благополучно зарулили в сугроб.

Папа подкатил, шикарно тормознув, пушисто взбив из-под конька фонтанчик ледяной пыли, и сказал мне:

– Ну, давай ручку. Поучу.

И я стал учиться. Ноги мои то расползались, как чужие, то заплетались так, словно перепутались ботинки. Я хлопнулся – раз, шлепнулся – два-с, гигнулся – три-с, шандарахнулся – четыре, и, наконец, слетел с катушек – пять! Коллекцию классических

фигурных пируэтов пополнили мои авторские па типа: «рыбкой на лед», «на карачках», «остановка в человека». Мама волновалась за меня, не выпуская из рук спинку спасительного креслица. Коленки мои стали дрожать, а ступни подворачиваться, и я застонал:

– Не могу больше! Ноги устали…

– А ты через «не могу», – настаивал отец.

– Не хочу через «не могу»!

– А ты через «не хочу».

– Не буду!

Наконец, папа сжалился:

Ну, тогда хватит. Пошли в буфет кофе пить!

Он подвез нас к раздевалке и по неожиданно вязким, совсем нескользким доскам мы, стуча коньками, добрались до буфета.

Боже! Каким райским напитком, каким нектаром показался мне горячий коричнево-серый брандахлыст, подслащенный и забеленный сгущенным молоком! Как изумил промасленный, густо нашпигованный изюмом клеклый кекс, намертво впечатавшийся в сырую вощеную бумажку! Как впечатлил граненый стакан с паучьей трещинкой на донышке – благородный сосуд, хранивший в себе эдемский дар под именем «Кофе слабое»! С каким наслаждением вытянулся ходок по льду на неподвижно-жесткой скамье!

Подкрепившись, отдохнув и отогревшись, мы снова вышли на лед. Народа на катке прибавилось. Креслице нашлось только одно – для мамы, а я возобновил уроки катания. Это выглядело, как первое чтение, как чтение по складам: с задержками, шевелением губами, запинками, ошибками, повторами:

Ты: *«Ка-ток был пе… пы…* (ноги твои заплелись, как язык) *по-лон. Лед зво-нок».*

Голос папы: *«Не звонóк, а звóнок»*.

Ты: *«Лед зво-нок. Ме… бе…»* (упал, лежишь).

Папа: *«Ни бэ ни мэ. Вставай. Чего улегся?»*

Ты (вставая): *«Бе… да ка-кой скольз-кий.* – Папа держал меня. – *О-бе-и-ми ру… ру… ру…»*

Конечно, ты уже давно догадался, что *руками*, но это же надо было прочесть, то есть выговорить, то есть изобразить ногами!..

Между тем черновик, который ты выписывал «гагами» по льду, вообще не поддавался расшифровке. Ты оставлял за собой мешанину рисок, штрихов, загогулин,

выбоинок и клякс от спотыканий. Но письмо «гагами» упорно продолжалось, подобно начальному чтению, и «конькобежец» *па… по-сте-пан…* опять запутался в ногах, нет, *по-сте-пен-но, спер-ва роб-ко, а по-том все у-у-ве-рен-ней и у-ве-рен-ней…, о-тор-вав-шись…* от отцовских рук, стал скользить по кренящимся, морозным, наполненным твердой голубизной зеркалам, по зеркалам, подернутым колючей сахарной пылью, окаймленным темной рамой живых деревьев, по граням, отразившим тени новичков и высоких ассов, со свистом рассекавших ледяное пространство, и вот – вырвался на набережную, на вольный простор, сразу обдавший холодным ветром, защипавшим щеки – на варварскую ширь затертой льдами февральской реки, а папа промчался навстречу, как бы не замечая, исчез за поворотом и снова возник, ища тебя взглядом – нашел, устремился за тобой, а ты весело юркнул в запутанные аллейки, вечную толчею и неразбериху дорожек, закоулков, переходов, тупичков, развилок…

На одной из них вы снова разминулись, – он мелькнул в толпе среди деревьев и скрылся из глаз: где он, где? – вынырнул у каруселей, а ты катишься спиной вперед, тормозишь, перевернулся на ходу, крутанул креслице, и мама закружилась в нем с мнимым испугом и непритворным восторгом; и все, что когда-то казалось протяженным, беспомощным, медленным, разлученным во времени, разрозненно ползущим вкривь и вкось, теперь убыстрилось, выровнялось, схватилось в памяти преображенно, нерасторжимо и прочно, как одно неиссякаемое мгновенье!

ЛИМОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Акулина Филипповна собирается пить чай. Сначала она обваривает крутым кипятком фаянсовый чайничек в красный горошек. Сливает кипяток. Потом засыпает жменю сухой *индейской* заварки, обдав ее плещущей, пузырящейся, добела раскаленной струей и оставляет настояться.

Пока настаивается, достает разбегающуюся кверху, как луговой колокольчик, звоном отзывающуюся чашку на блюдце, помеченном горсткой ломких трещинок – паучьих морщинок.

Берет литой, как колокол, свекольный рафинад родных приднепровских полей и что-нибудь сладкое, но *мяконькое*, не *каляное – по зубам*: пастилу, зефиринку, мармелад, но никогда – сухари и сушки. (– У меня зубов нетути, чем хрысть. – А где они? – А и хто ж их знаить? Съелись…)

На самом деле зубы у Филипповны есть, но их мало, больше розовых десен, а те, что остались, даже не зубы – зубчики: меленькие-меленькие, стесанные временем, расшатанные частой бескормицей, всем пустодомством войн, выпавших на ее долю. Так что теперь няня и пряник-то не укусит. Ей нужно то, что можно *хубами исть*.

Чай наливается аккуратно, без брызг. Настает черед главному действу, превращающему обычное «чайку попить» в целую Лимонную церемонию.

– Чтой-то кисленького страсть как хотца! – говорит няня, вынимая из шкафчика маленький иззелена-желтый лимон-недоспелок или в ее произношении (чуть в нос, *по-хранцуски*): *лямон*.

Этот фрукт у нее – в большой чести. Принадлежа к высокому рангу вещей *пользительных*, он поражает нянино воображение резкой отчетливостью вкуса. Лимон для нее не просто *хрукт*, а знаменье кислого, как сахар – олицетворенная сласть. Однако, помимо уважения, по причине все той же принципиальной едкости его нрава, няня заметно побаивается лимона. Всегда с опаской ошпарит его, словно усмиряя, затем долго примеривается липким жалом ножа к желтой пупырчатой шкурке и не отрезает – нет! – *отхватывает* плоскую горбушку, веруя в то, что лишь мгновенно отхватив кусок, можно укротить строптивый фрукт.

Теперь он лежит перед Филипповной во всей красе, поблескивая отпугивающе-желанными каплями сока, матово отливая рассеченной пополам горько-серебряной косточкой, прельщая шелковистыми прожилками недоспевшей изумрудно-влажной мякоти, напоминая в разрезе колесико с изогнутыми спицами, смещенной осью и тонким ободком солнечной цедры. Лимон лучится на кремовой скатерти, а вокруг него, как планеты, кружатся чайничек, сахарница, чашка, рафинадные щипчики, малиновый брус пастилы или половинка зефира, сахарно мерцающая в лимонных лучах.

Няня вдыхает аромат свежего среза и крепко произносит: «А!..» – что означает: «Бьет! Пробирает! То, что надо!»

Среди русских крестьян встречаются иногда большие эстеты, но их восхищенье красотами Божьих даров обычно уравновешено мыслью о *пользительности* дара и оттого защищено от избыточного наслаждения, от любования как такового. Ни разу в жизни Филипповне не пришло на ум пустить вдоль ниспадающих складок скатерти длинно завивающееся кружево фруктовой пряжи – лимонную кудель, как это любили делать старые фламандские живописцы, или подождать, пока лимон усохнет, скукожится, утратит свою звериную, первобытную сочность и приобретет черты, присущие

натюрморту, но чуждые живой природе чаепития. А потому без всяких смакований толстый ломтик отправляется прямо в чай.

Филипповна отпивает первый глоток. Хорошо! Но кисло. Надо *подсластить*…

Гнутыми железными щипчиками с непопадающими друг на друга зубцами няня в кулаке – дабы не разлетелось ни крошечки! – разламывает кусок сахара, такой твердый, что *хоть топором руби.* Теперь – сладко.

Начинается питие с прихлебываньем и прихлюпываньем, со словами: «Укусно!» или: «Чтой-то у меня зехвир зачерствивел? Как же ето я об нем забыла? Уж память не та стала…»

В школу я еще не хожу, времени не считаю. Мне интересно все. Но особенно – все веселое, и, особенно, то веселое, что и не думает меня смешить, а смешно само по себе.

Я сижу за столом напротив няни и, копируя ее чинность, неторопливо дую в блюдце, поставленное на растопыренные пальчики – гоню чайные волны к другому берегу.

– Прихлебывай, птушенька, прихлебывай! – поощряет меня Филипповна.

И я кружу губами над блюдцем и дую сильней, как западный ветер Зефир. В панике мчатся от меня по бурым волнам черные чаинки-кораблики, а волны уже перехлестывают через бортик…

– Ну, хватить рикошетничать! Вишь: скатерть облил.

– Я – Зефир! – объясняю причину морского волнения.

– Не путляй, зехвир едять.

Тем временем нянин чай допит. Ложечкой поддевает она ломтик лимона. И тут затевается великая борьба с искушением: макнуть лимон в сахарную крошку или нет? Макнуть или нет?.. Не макнешь – *пользительно*, но *ужасть* как кисло («Вырви хлаз!..) Макнешь – слаще, зато не так полезно. Этот момент – самый важный во всей церемонии. Ее финал зависит от решения, которое примет сейчас Филипповна. Если макнет, то ничего интересного не случится. Лишь бы не макнула! Лишь бы не макнула! И тогда…

Проглотить ломтик сразу невозможно. Хоть сколько-нибудь, а надо его пожевать. Некоторое время няня жует лимон. Богатство ее мимики становится несравненным. Она жмурится, морщится, щурится, строит мины одну кислее другой, отмахивается, точно от нечистой силы, передергиваясь, крутит шеей, выбрасывает кверху руки, как будто разряд молнии простреливает ее насквозь, кислым током прошивая язык и отнимая дар речи.

Выдержав зияющую открытым ртом паузу, речь возвращается к несчастной почитательнице лимонов, начиная с покряхтыванья: «А!», с междометия: «Ох!», с проклятия: «Штыб тебе завалило!..»

На глаза Филипповны наворачиваются слезы. Я хохочу, и губы ее растягиваются в улыбке:

– И смех, и грех! Ешь ты теперь…

Срываю зубами мякоть с цедры и тоже перекашиваюсь от несусветной кислятины. Скорей заесть! А няня, не спеша, убирает со стола остатки нашего пиршества. Не стряхивает в ладонь (это не клеенка), а сощипывает крошки, цепляющиеся за шершавинки скатерти. Ставит лимон дозревать в шкаф.

– Ну, вот и усе чисто… Бог напитал – нихто не увидал! – завершает Лимонную церемонию Акулина Филипповна.

МЕЖДУ РАМАМИ

Целый век спустя в Москве, в Историческом музее открылась выставка «Наше счастливое детство». Захотелось вспомнить, как мы жили. Я пошел. Боже, какая бедность предстала глазам, что за скудное существование мы, оказывается, влачили!

Все эти вечно подтекающие краны; коптящие, вонючие керосинки с потрескавшимся слюдяным окошечком, за которым плещется слабый огонек. А подоткнутые газетой под пятку шаткие этажерки? А хриплые приемнички, рассчитанные лишь на московскую городскую сеть? А черный как кусок угля телефон с заедающим диском – хорошо, если один на весь дом?..

Белье кипятили в баках на общей кухне, стирали в тазах на ребристых стиральных досках, сушили на замусоренных сквозных чердаках. Четверть Москвы жила в подвалах, четверть – в бараках. Кремль казался пустым и лишь мерцал штыком часового, сторожившего его державный покой, охранявшего власть, еще не освободившуюся от вождя лесов, полей и рек… Граница на замке!

Слово «холодильник» означало тогда только многоэтажный глухой «кирпич» на Таганке, где каменели распиленные вдоль хребта бычьи туши да обрастали ледяной щетиной кубы сливочного масла, неподъемные, как свинец.

Какие еще пылесосы? Коврики выколачивали палками во дворе, выметали вениками, натрусив с боков сыпучего, пушистого снежку, и уносили, скатав посвежевший

ворс изнанкой наружу, оставив знак его пребывания – серый прямоугольник пыли на снегу.

Какие машины, кроме редких швейных? Ножной, дореволюционный «Зингер», как антиквариат, мог украсить комнату, являя в одном лице и технику и мебель. В зеркальных «ЗИМах» ездили министры и генералы, в голубых «Победах» – герои-летчики. Остальным полагался трамвай…

А наша еда? Дежурный пирожок с повидлом и стакан газировки. Оглушенный горчицей зельц и капустный шницель. Серые макароны, похожие на папиросы «Беломор» только без табака. А как же знаменитые бульоны с профитролями? Жюльены и крендели? Струдели и желе? Заливные осетрины? Горы зернистой икры, отливающие черным лаком?

Это за песочным переплетом толстенной книги о вкусной и здоровой пище серебром сервированные столы ломились от обилия снеди, венчались удлиненными или короткогорлыми бутылками грузинских вин, с волшебно звучавшими именами: «Гурджаани», «Цинандали», «Киндзмараули», «Аджалеши», а в реальной жизни солдатские «щи да каша» разнообразились летом салатом, зимой – винегретом, на праздник – куском сдобного колеса, испеченного в «алюминиевом чуде».

А наша обувь, наша одежда? Башмаки с грубыми колодками – негнущиеся, одеревеневшие, как сабо. Непроницаемо черные зонты. Последний крик столичной моды – бежевое пальто с накладными карманами и вшитыми прямыми плечами – огромное, точно гроб. Последний писк моды деревенской – как будто облитые подсолнечным маслом, лоснящиеся плюшевые жакеты для ударниц колхозных нив.

Но, почему-то, как только забываешь об экспонатах и начинаешь воскрешать прошлое в волшебном фонаре памяти, как все меняется, окрашивается таким добрым светом, согревается таким душевным теплом, настолько преображается воображением, что бедное, действительно, предстает счастливым, хоть это и не значит, конечно, что богатое было несчастным. Но богатство – не наш опыт и судить о нем не нам.

Как и все вокруг мы жили без холодильника. С поздней осени до ранней весны его заменяло пространство между двойными оконными рамами. Туда, готовясь к приему гостей, мама и ставила остывать свое коронное блюдо – говяжий студень. Сперва горячий, он быстро охлаждался и напоминал мне каток на игрушечном пруду. Темные тени мяса, как глубокие омуты, заливал прозрачный, мягкий желатиновый лед, кое-где припорошенный снежинками жира. От студня ощутимо веяло морозцем.

За окном еще лежал снег, но скорый приход весны чувствовался по участившимся оттепелям, когда сухой зимний наст превращался в мокрое месиво, а на припеках

беспечно и звонко лило с крыш, или вдруг внутри водосточной трубы что-то, треснув, вздрагивало, обрушивалось, и подтаявший ледяной ком так внезапно и стремительно грохотал по всем пяти этажам перцовского дома, что пригревшийся под трубой кот едва успевал отпрыгнуть и опрометью сигануть в подворотню.

Вступавшая в Москву весна повсюду высылала своих вестников – теплые дуновения, заставлявшие набухать почками красноватые ветки вербы, верещать купавшихся в лужах воробьев, а иного древнего дедулю, приехавшего с мешком глиняных свистулек один Бог знает, откуда – уж не из-под северного ли Каргополя? – остановиться посреди Волхонки, снять шапку и с каким-то родовым, от предков унаследованным благоговением, с тайной дрожью перекреститься на немые кремлевские колокольни.

Но вечерами мороз еще прихватывал, и мамин студень между рамами блестел, как настоящий каток. Не доставало лишь музыки да конькобежцев. Однако стоило включить радио, как музыка являлась, и эфирно-чистый тенор пел о серебримой луной тихой Бренте, о лазурном своде, о ропоте «чуть дробимыя волны», о шорохе миртов и померанцев, а вослед этим волнующим, но мало понятным звукам возникал уже и вовсе неведомый «напев Торквато гармонических октав», воспринимавшийся мной как нечто, произносимое почти по-итальянски. Но, признаться, слова «Баркаролы» были мне тогда не столь важны. Хватало музыки, одной только музыки, под звуки которой, как страницы старинного альбома, раскрывались воображенные мною картины.

Я видел расписные, узкие гондолы на загнутых полозьях, скользившие, словно сани, по льду желатины. В увитых цветами гондолах шумели нарядные дети, беспокойные и крикливые, как птенчики чаек. Красивые дамы с открытыми плечами обмахивались веерами, точно они прибыли не на каток, а в оперу. Знатные вельможи обменивались новостями с двух английских фрегатов, приведших из Вест-Индии компанию каравелл с грузом пряностей и кофе. В Карибском море на них напали пираты и фрегатам пришлось окутать палубы дымом своих батарей… Хоть я и не был уверен в том, что каравелла – судно торговое, а не военное, отчего-то мне так хотелось, чтобы под музыку *баркаролы* швартовались именно *каравеллы*!

Силачи-гондольеры в золоченых куртках толкали гондолы, упираясь в приподнятые надо льдом узорные кормы. Вольные бегуны в развевающихся карнавальных одеждах разгонялись по сторонам на длинных «ножах» – варяжских коньках, чуть подтопленных в подтаявшем льду.

Блестящие, в огнях, палаццо вывешивали из окон на стены мраморные ковры своих цветных орнаментов. А тем временем гитары раздвигали воздух, давая место вступавшим

следом мандолинам, – таким печальным, таким томительно-счастливым! Их сдвоенные струны вибрировали от прикосновений миндальных косточек, заменявших медиаторы[6] старинным музыкантам. На мандолинах играли миндалем!

И вся эта маленькая Венеция баркарол, каравелл и гондольеров, представленная мною по рассказам, слухам и картинкам, – радостная, танцующая, родная, – отражаясь в зеркале льда, животворилась моим собственным вымыслом под музыку на воде, забранной в шершавый панцирь марта, вспыхивала шутихами шуршащих змей, озарявших черноту и ликовала, ликовала, ликовала не где-нибудь в Италии, где и посреди зимы-то на лед страшно ступить, – такой он ненадежный, хрупкий и ломкий, – а здесь, дома, между двух рам, затененных изнутри виноградными листьями шитой шторы, засыпанных снаружи снежными цветами московской метели, – здесь, на волшебном покрове маминого студня.

КОНФЕТКУ ИЛИ ЯБЛОЧКО?

Вопрос выбора часто оказывался для меня затруднительным. Особенно, если выбирать приходилось между одним очень хорошим и другим, тоже очень хорошим.

Перед сном мама давала мне что-нибудь вкусное, когда оно было в доме. Обычно – яблочко или конфетку, предлагая на выбор либо то, либо это. А мне хотелось и конфетку, и яблочко! Я долго выбирал, а потом нерешительно просил и то, и другое. Потому-то мне так нравилась советская избирательная система. В ней избирателям рекомендовались и «конфетка», и «яблочко» одновременно, то есть два кандидата на два места – в Верховный Совет СССР и в местный Совет депутатов трудящихся. Выбор состоял не в том, за кого голосовать, а в том, голосовать или нет. Можно было и отказаться. Вообще-то… Но отказываться было нельзя. Такое никому даже в голову не приходило. Как это, не голосовать, когда *все* голосуют?

Итак, я осваивал новый для себя праздник – День выборов. Наш избирательный участок помещался в ближайшей от нас 41-ой школе в Обыденском переулке, за церковью. Туда нам и надлежало направить свои стопы.

Вечером накануне праздничного дня к нам домой приходил агитатор. Он усиленно агитировал нас, то есть убеждал не отказываться от своего гражданского долга (хотя мы и не думали отказываться!) и отдать свои голоса за кандидатов «нерушимого блока

---

[6] **Медиатор** – здесь: миндалевидная костяная пластинка для извлечения звука.

коммунистов и беспартийных» – за двух самых достойных. Он разъяснял, что выдвинутый в Верховный Совет СССР начальник цеха электрических лампочек Электролампового завода им. Яблочкова – очень хороший начальник цеха. Его лампочки горят у нас в доме и не перегорают.

– Перегорають, – не соглашалась Филипповна, улыбаясь. – Как же не перегорають, кады надысь сама увыкручивала на калидоре?

Агитатор тоже улыбался в ответ, воспринимая нянины слова, как дружескую шутку. Лампочки, конечно, могли перегорать, но тоже как бы в шутку, чтобы все порадовались внезапно наступившей темноте: горело-горело и вдруг погасло! А если говорить серьезно, то:

– Простите, как ваше имя-отчество?

– Хвилипьевна.

– А полностью?

– Акулина Хвилипьевна.

– Акулина Филипповна, в лампочке светится вольфрамовый волосочек. Температура его плавления – свыше трех тысяч градусов. Понимаете, как его надо раскалить, чтобы он перегорел? Вольфрам – тугоплавкий металл. Он обеспечивает надежность и долговечность изделия.

Это няня, конечно же, понимала, а *усе-тки увыкручивала…*

Я молчал, но внутренне негодовал на няню из-за того, что жизненно важный для всех вопрос политического выбора она путает с такой ерундой, как погасший в коридоре свет. Пропагандисту приходилось тратить драгоценное время на вольфрамовый волосок вместо того, чтобы сосредоточиться на процедуре голосования или растолковать мне недоработки в «Положении о выборах». Почему, например, генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин баллотируется по единственному избирательному округу, а не по всем сразу? Почему некоторым так везет, что они голосуют за маршала Клима Ворошилова, тогда как другим достается начальник цеха, пусть и очень хороший, но все-таки хуже Ворошилова?

Эти жгучие для меня вопросы няня перебила своим неуместным замечанием о перегоревшей лампочке. Агитатор так расстроился из-за того, что у нас нет света в коридоре, что, казалось, был готов подарить няне новую лампу. А как хорошо было бы получить в подарок лампочку Ильича с завода им. Яблочкова! Кроме заведомой добротности изделия, меня неосознанно радовала эта сочная звукопись на «ч» и капельная на «л», эта внутренняя рифма: яблочки я любил, лампочки тоже.

– А кто выдвинут по нашему округу в местный совет? – спросил папа, увы, скорее из вежливости, нежели из неподдельного интереса.

– Укладчица орденоносной кондитерской фабрики. Очень хорошая укладчица! – живо отозвался пропагандист.

– И что ж ето она укладаить? – полюбопытствовала няня.

– Она укладывает конфеты.

– Сласть! – воскликнула Филипповна и неожиданно добавила: – Ох, от ентой сласти у мене зубы ломить…

Ну, это уж было слишком! Ломит – не ешь, но причем тут голосование?

Я боялся, что Филипповна вспомнит еще и о недавней денежной реформе или, как она говорила, «*лесхорме*», обесценившей все ее сбережения. С тех пор малейшие слухи о возможных новых *лесхормах* чего бы то ни было сеяли в няне панический страх. Однако, от этого воспоминания она воздержалась. Просто ей было приятно поговорить с агитатором, а личное выше общественного она не поставила.

Убедившись в том, что наша семья от выборов не отказывается, агитатор попросил нас прийти пораньше и проголосовать с утра, чтобы он был спокоен.

Так мы и поступили. Папа жил в своем режиме и голосовал отдельно, а мы с мамой и Филипповной сразу после завтрака собрались идти в участок. Все нарядно оделись. Няня повязала перед зеркалом выходной платочек, застегнула на все пуговки чистенькую *«кобеднешнюю кохточку»*, и мы отправились в путь.

Пересекли скверик, поднялись на горку к церкви, вошли в школу. Там было так красиво… Кругом – плакаты и красные транспаранты с непонятными белыми буквами.

– Мам, что здесь написано?

– «Все – на выборы!»

– А там?

– «Отдадим голоса лучшим сыновьям и дочерям народа!»

Играет патриотическая музыка. И какая предупредительность по отношению к избирателям со стороны людей, обслуживающих выборы! С нами здороваются, нам показывают, куда идти, передают нас по цепочке из рук в руки… Ни с чем подобным я прежде не сталкивался. Верно, и няня тоже. От заботы и внимания ей сделалось дурно. Вот ноги ее слегка подкашиваются, она произносит что-то вроде:

– Свят! Свят!.. – и тут же два молодых человека – комсомольские активисты – подхватывают ее с обеих сторон. Избирательнице не должно быть плохо на выборах, ей должно быть хорошо!

– На каком витаже вурны? – как-то подозрительно ослабев, но со знанием дела спрашивает Филипповна, опираясь на крепкие руки активистов.

– На третьем, – отвечает актив.

– А лихта нетути?

– Чего?

– Какой тут лифт? Это же школа, – говорит мама.

– Чижало по лестницам. Чувствую себе… – шевелит губами няня, не завершая сообщение о том, как именно она себя чувствует. Однако из того, что ей *чижало,* следует, что чувствует она себя неважно, может и не дойти до цели и не исполнить свой гражданский долг.

Комсомольцев охватывает беспокойство. Под угрозой – считанный голос и есть опасение, что избирательница не сумеет его подать. И парни, – а в моих глазах – взрослые дяди, – любовно, бережно поддерживая няню, с величайшим почтением возносят ее как Царицу Небесную по белой парадной лестнице, устланной красными коврами с золотой оторочкой; по лестнице, сложенной такими легкими, такими плоскими ступенями, что они сами поднимают тебя на любой этаж, но таинственным образом именно сегодня оказываются неприступными для Филипповны.

В Актовом зале на третьем этаже, в святая святых, установлены приземистые как медовые колоды, коричневые урны для голосования. Глуховатая напряженность – как на пасеке. Торжественность – будто в храме во время богослужения. Над колодами стоит мерный гул и роятся, роятся, роятся бюллетени прежде, чем влететь, заползти, протиснуться в узкие щелки колод. А чин Избирательной комиссии – басовитый осанистый бородач, точно дьякон, похаживает среди встревоженной паствы, и чудится: вместо утраченного: «Аллилуйя! Аллилуйя!» звучит вновь обретенное: «Голосуйя! Голосуйя!»

Пожалуй, более всего это напоминает фантастическую литургию на пчельнике в момент массового прилета. Как «взятки» в соты сносятся в урны лакомые бюллетени. Приглушенно поет партийный хор. Те же сосредоточенность, чинность, точность, размеренность. Те же «насекомые» танцы рук над урнами, те же пасы взволнованных пальцев. Те же хвалы, но возносимые не сокрушенному Создателю, а нерушимому блоку…

Подобие скрытых ниш для исповеди – занавешенные рыхлым и пухлым вишневым бархатом кабинки для тайного голосования. Оказывается, изъявлять свою волю можно не только открыто, но и тайно! Замечаю, однако, что в кабинки почти никто не входит. Да и

зачем таиться? Это выглядит даже неблаговидно, как будто у тебя есть секреты от советской власти! Тем не менее, возможность посекретничать предусмотрена. И я опять испытываю замешательство. Как лучше голосовать маме и няне: открыто или тайно? Жаль, что нельзя, и открыто, и тайно одновременно, ведь так любопытно заглянуть в кабинку: что происходит там, за плотными складками бархата? А вдруг там приготовлен какой-нибудь сладкий сюрприз: чашка яблочного компота или пурпурная коробочка ассорти «Бегущий олень» с серебряными щипчиками, чтобы сподручней было поддевать конфетки? А, может быть, там, в загадочных драпировках прячется умудренный опытом и облеченный доверием Товарищ, готовый подсказать верное решение сомневающемуся избирателю? Все это совершенно завораживает…

А смущает одно: слово «урны». Я знаю, что существуют урны для мусора. Бывают еще урны с прахом. Но разве избирательные бюллетени – мусор? Разве они – прах? Зачем же тогда опускать их надо непременно в *урны?* Неужели нельзя во что-нибудь другое? Слово «урны» откликается во мне каким-то трауром, хотя я, конечно, не догадываюсь, что оно и по звуку полностью укладывается в слово *траурный*, придавая голосованию совсем неподходящий для него оттенок панихиды. А еще меня беспокоит, чтобы няня по ошибке не опустила в урну паспорт вместо бюллетеня. Хорошо, что она заранее поинтересовалась, *куды блютенъ, а куды пачпорт,* и ничего не перепутала: подала один голос за коммуниста «Яблочкова», другой – за беспартийную «Конфеткину», а паспорт оставила себе. Правда, няня почему-то чуть-чуть помедлила над избирательной щелкой, словно колеблясь: бросать – не бросать? А мамины бюллетени я опустил сам и был доволен тем, что они не застряли, потому что у некоторых застревали, и приходилось проталкивать свой голос в прорезь как бы насильно: урна не хотела его принимать, а ее заставляли…

По выходе из зала те же молодые люди участливо спросили у няни, как она себя чувствует, не надо ли чем помочь? И Филипповна уже привычно приподняла руки, точно опираясь на подлокотники невидимого кресла. И «подлокотники» тотчас явились, и, плавно покачиваясь, она сошла по парадным ступеням под торжественный марш в сопровождении двух преданных (до вестибюля) пажей.

На улице няня моментально обрела былую твердость походки, четко шагая по *протувару,* а когда тротуар кончился, просто взлетела на наш четвертый этаж, опередив и маму, и меня.

Я испытывал неловкость за тот «театр», который няня устроила на лестнице в школе, поскольку плохое самочувствие она разыграла. Ведь на самом деле она

чувствовала себя нормально… Но теперь, по прошествии лет, вспоминая тот день, я, кажется, догадываюсь о причине, побудившей Филипповну придать своему выбору столь яркий театральный эффект.

Всю жизнь власть унижала ее, как могла. Сгибала в три погибели директивами и указами. Пустопорожними трудоднями. Мешком сорного проса за месяцы полевых работ. Большим произволом и мелким самоуправством. Хлопотами о скудной пенсии, оформить которую было невозможно, потому что у неграмотной крестьянки, пережившей коллективизацию, пожары, немецкую оккупацию, бегство из голодного смоленского края, не осталось на руках никаких справок, подтверждавших ее трудовой стаж, хотя все «справки» были отпечатаны на ее ладонях. Всю жизнь она покорствовала умыслам правителей, воле местных и поднебесных вождей. И вдруг, на один только миг, на момент голосования, почувствовала, что власть заинтересована в ней, в ее голосе, пусть хоть на крошечку, но зависима от нее. И она воспользовалась случаем. Нет, она не стала исправлять заведенный порядок, но заставила себе услужить – раз в жизни вознести себя наверх по белой лестнице и как бы задумалась на мгновенье над избирательной урной прежде, чем послать туда листок с приветом судьбе – ее окаменевшей конфетке, ее гнилому яблочку…

ИНДИЙСКАЯ РАДУГА

Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили[7].

Осип Мандельштам

На Пасху мы с мамой в гостях у тети Кати и дяди Жоржа. Вообще-то моего любимого дядюшку зовут Георгием Кузьмичом, но тетя Катя именует его на французский манер: Жорж. Их квартирка в гранитном доме над метро «Ботанический сад» (теперь – «Проспект Мира») напоминает крохотную антикварную лавочку – драгоценное гнездо в расщелине серой скалы – столько здесь фантазии, дорогих, затейливых безделушек: японские фарфоровые чашечки, мейссоновские статуэтки галантных влюбленных, весь узорный,

[7] **Кошениль** – здесь: красящее вещество красного цвета.

как плетеная корзинка, и точно заснеженный богемский хрусталь, лазурные с золотыми ободками коньячные «рюмочки-пригубочки», самоцветные глаза павлиньих шкатулок – жгучих уральских жар-птиц и еще столько всего, радующего своей прихотливостью, подлинностью, стариной!

На столе – льняная накрахмаленная скатерть с аккуратным перекрестьем свежеотутюженных складок. А на скатерти – горка красных крашеных яиц, пышный домашний кулич с изюмом, наполняющий комнату душистым и теплым ароматом корицы, и главное угощение – дивная фруктовая пасха в хрустале, сладкая пасха с цукатами и живыми виноградинами, нежная, как крем, желтоватая, овеянная ванилью.

Мне наливают бьющий в ноздри, остро пузырящийся лимонад, взрослым – коньяк. Кроме мамы, взрослых за столом четверо. Дядя Жорж балагурит с тети Катиной сестрой Людмилой Григорьевной, про которую я знаю, что она окончила консерваторию, но пианисткой не стала, а муж Людмилы Григорьевны, Николай Петрович Вышеславцев смешит маму и тетю Катю каким-то театральным анекдотом, однако юмор его до меня, увы, не доходит.

Прежде Николай Петрович служил в духовной консистории. Что это такое, я тоже не понимаю. Кажется, что-то церковное. Зато мне ясно, почему Николай Петрович женат на Людмиле Григорьевне. Она заканчивала *консерваторию,* когда он посещал *консисторию.* Наверняка это было где-то рядом. Потом Николай Петрович работал на радио. Он записывал оперы. Каждая запись сопровождалась словами: «Тонмейстер[8] – Вышеславцев». Все великие музыканты были его друзьями. Он называл их по именам-отчествам: «Надежда Андревна, Иван Семеныч, Антонина Васильна, Николай Семеныч…» А я, как бывалый радиослушатель, мысленно добавлял: Обухова, Козловский, Нежданова, Голованов… Оказывается, много лет Вышеславцев дружил с дирижером Свешниковым, с тех самых пор, «когда Александр Василич был еще регентом хора храма Христа Спасителя».

Все это для меня ново и весьма удивительно. Мы живем в атеистической стране. Хор Свешникова выступает по радио с народными – не церковными – песнями, а сам дирижер, представьте себе, был каким-то «регентом», а тут еще этот кулич и эта пасха…

Я кладу ложечку на язык и закрываю глаза.

– Ешь, ешь, пока ротик свеж, – поощряет хозяйка.

– Да, Кать, пасха у тебя знатная! – хвалит сестра.

---

[8] **Тонмейстер** – звукооператор.

– С ванилью, – уточняет дядя Жорж.

– Кстати, а что такое ваниль, кто-нибудь знает? – спрашивает Николай Петрович.

Мама знает:

– Ваниль – это растение из семейства Орхидных, а вещество, которое выделяют из ванили, правильнее называть ванилином.

– Ах, так у нас пасха с орхидеями?! – радуется Людмила Григорьевна.

– В старину говорили: «Экая Пасха – шире Рождества!» – вспоминает тетя Катя, подкладывая мне добавочку.

Дядя Жорж на правах хозяина разливает по рюмкам коньяк из нарядной, усыпанной звездами бутылки, а Вышеславцев поглаживает клинышек каштановой бородки и, разглядывая рюмку на свет люстры, интересуется:

– А вы знаете, что Свешников всему предпочитает шустовский[9] армянский коньяк?

– Коля, не бреши! – пресекает мужа Людмила Григорьевна, но тот, не обращая внимания на протест супруги, продолжает:

– Вы никогда не замечали, что перед началом пения Александр Василич (естественно стоя спиной к залу) что-то там такое достает из внутреннего кармашка фрака?

– Замечали, – говорит Катерина Григорьевна. – Ну, достает… И что же он, по-твоему, достает?

– В этом-то и секрет его успеха! А достает он, милостивые государи… – тут Николай Петрович делает паузу, обводит всех озорным взглядом, на миг останавливается на мне, словно причисляя и меня к высокому чину «милостивых государей», и, понизив голос, выдает сокровенную дирижерскую тайну… – А достает он малюсенький пузырек с коньячком! Тяпнет капельку и прошу вас – «Вечерний звон».

– Бом!.. Бом!.. – в тон рассказчику отзывается Георгий Кузьмич.

– Да будет фантазировать! Не слушайте вы его! – снова предупреждает Людмила Григорьевна.

– Как? Прямо на сцене?! – удивляется мама.

– Прямо на сцене! И так перед каждым номером. А время от времени Александр Василич проходит за кулисы. Все думают, что это он отдохнуть на минутку. А на самом деле не отдохнуть, а снова налить опустевший пузырек…

---

[9] **Шустовы** – российские купцы, построившие коньячные заводы, в частности, в Армении.

Я в замешательстве. Чувствую, что Вышеславцев нас разыгрывает, но в этот розыгрыш хочется верить – такой он складный и легкий, как веер или веселящая душу небесная радуга.

А рассказчик между тем продолжает:

– Однажды захожу за кулисы после концерта. Александр Василич ко мне. Румянец, настроение превосходное. «А? – говорит, – Николай Петрович! Шесть номеров на бис – каково-с?! Так и захмелеть можно! У меня уже радуга перед глазами…»

Дядя Жорж смеется, мама радостно удивляется, тетя Катя грозит свояку пальцем, а Людмила Григорьевна умоляет всех не верить ни единому его слову.

– Если бы все так было, как Николай выдумывает, Свешникова приходилось бы со сцены на руках уносить…

– А его и так уносят!..

– Но трезвого!

– Откуда ты знаешь?..

А я сижу с ложечкой сахарной пасхи, и в сладком забытьи плывут вокруг меня японские чашечки, павлиньи шкатулки, галантные кавалеры, голоса взрослых… Лучатся, поворачиваясь под люстрой, богемские корзинки, покрытые хрустальным инеем, а дирижер Свешников в черном фраке держит одной рукой свою воображаемую музыкальную указку, а в ладони другой (незаметно от публики) греет коньячный пузырек. Сейчас он к нему наклонится и… «тяпнет»!

Как-то мы с мамой отправились на концерт хора Свешникова. Высокий, сосредоточенный дирижер вышел на авансцену, приветствовал зал, повернулся лицом к хору и вдруг, в самом деле, положил руку во внутренний карман фрака…

Я замер в кресле, однако разглядеть ничего не смог: Александр Ва-силич загородился от меня спиной.

Загадочная манипуляция, действительно, повторялась перед каждым номером.

В антракте я уговорил маму пересесть на свободные места в ложе сбоку от сцены.

Начиная второе отделение, Свешников снова поклонился, повернулся к хору, положил руку во фрачный кармашек и достал оттуда маленький … свисток-камертон похожий на тети Катину «рюмочку-пригубочку». Дирижер подул в свисточек, и тот отозвался ему едва слышным «ля»…

* * *

А потом… Потом был индийский город Рачкот на западе Гуджарата. Дом учителя математики. По комнате гулял павлин, не решаясь распустить узорчатый веер хвоста, а на столе передо мной стояло серебряное ведерко из-под шампанского. Но не шампанское было в нем, милостивые государи, нет! Ведерко до краев наполняла дивная фруктовая пасха – тети Катина пасха. Я ел ее и бросал павлину орехи. Каждый новый бросок был короче предыдущего, так что постепенно птица оказалась у моих ног. Это было похоже на сбывшийся сон. Давняя Пасха в Москве, родственный круг, фантазии Николая Петровича стали перьями той индийской радуги, коей мне посчастливилось причаститься – доброй радуги воображения, розыгрыша, сердечной улыбки. Так что прав был Николай Петрович, прав: Свешников настраивал хор не по камертону, а по индийской радуге – глотком коньячка. Потому и пение лилось – как с небес!

ПОКУПКА ВЕКА

1

Обычно Рикошетник появлялся без всякого предупреждения и пропадал, оставляя зримые приметы своего вторжения. Он был мастер создавать странные ситуации и порой заставлял меня произносить или делать то, что я вовсе не собирался. И все-таки он был для меня не просто одним из сказочных духов, вроде домового, лешего или водяного, а одним из духов моей души – собственным, кровным, родным.

Его нельзя увязать ни с каким определенным временем. Время для него не существует. Он обитает в вечности и, как дух, бессмертен. Вопрос о возрасте тут не стоит. Ему столько лет, насколько он нарикошетит. Правда, я обратил внимание, что он как бы взрослеет вместе со мной. С годами его шутки становятся мягче, сдержаннее. Теперь мне бывает стыдно за тот воинственный азарт, которым он распалял мое воображение в детстве. Пыл воина постепенно уступил место более миролюбивым проявлениям его темперамента.

Коль скоро он общается с вечностью, понятие времени размывается и для меня, когда Рикошетник (или иной дух) действует от моего имени. В бытии духа хронология роли не играет. И подчинен он не причинно-следственным связям, но ассоциациям, как поэт, сводя по общим признакам людей и события, которые могут и не пересекаться во времени. Для него насущно не «если, то», не «раньше–позже», а «подобно тому, как». Он

не дробит, а собирает. Единство души складывается из множества населяющих ее духов, а единственность – из их неповторимости.

Душа есть обитель духов, они есть свойства души.

Вестник вечности – дух – свободно перемещается, и в зримом, и в воображаемом пространствах, беспрепятственно переходя из одного в другое. Он способен исчезать, возникать, снова пропадать где, как и когда ему вздумается.

С возмутительной легкостью пренебрегает он естественными законами. Дух бесплотен, он не имеет массы, а, значит, и земное притяжение ничуть его не тревожит. Говорить с ним о таких вещах, как центр тяжести, инерция, сила трения, просто смешно, – ведь он – не материальное тело.

Его присутствие трудно предугадать, но легко почувствовать. Это дается опытом общения с людьми. Особенно в магазинах «Ткани», ибо духи обожают скрываться во всякого рода драпировках. Поэтому, работая с покупателем, наряжая его или, наоборот, разоблачая, продавец имеет возможность почувствовать, какие именно духи составляют непременную свиту того или иного клиента.

2

В Москве на Метростроевской улице (бывшей и нынешней Остоженке) располагался магазин «Ткани». С потолка до пола он был завешен голубым атласом, алым шелком, разноцветными ситцами, батистом, бархатом, заложен штуками грубого седого сукна и тончайшей синей шерсти.

По сведениям Рикошетника, в этом магазине служил один очень расторопный и распорядительный продавец, похожий на старорежимного приказчика, который видел духов насквозь, но скрывал это, а для того, чтобы их вызвать, расточал перед покупателем перлы своего красноречия. Ораторскую хватку духовидца я испытал на себе.

Однажды в апреле в «Тканях» на Метростроевской мама приглядывала себе габардин на демисезонное пальто. Пока она выбирала между бежевым и бордовым цветами, я скучал, положив подбородок на прилавок. Покупателей в зале почти не было.

Хотя до закрытия оставался еще целый час, продавец нервничал, как будто мы его задерживали. Маленький, кругленький, в очках, он расталкивал штуки материи, играя «метром» – мерной линейкой с железными торцами, и говорил, то проглатывая букву «эр», то грассируя:

– Товарищи! Отдел закрывается. Прошу поторопиться. – Говорок его был напорист и пронзителен. – Прошу поторопиться! У меня нет ни секунды времени. Сегодня – мой

день рождения. Дело не в подарках, а в принципе. Подарки мне не нужны. Ваша покупка станет для меня лучшим подарком. Но от принципа я не отступлюсь ни на йоту. Что вам угодно?

– Я бы хотела купить габардин на пальто, – сказала мама. – Какой вы посоветуете?

Ни на миг не задумавшись, продавец ответил:

– Бежевый габардин красивый, но маркий. От души рекомендую бордовый. Утверждаю, что когда в пальто бордовом, как наше знамя, вы пройдете по Метростроевской улице, за вами ринутся массы сознательных рабочих и трудовой интеллигенции, приветствуя правильность вашего выбора.

– Господи! Да не нужно мне этого, – испугалась мама.

– Вам-то не нужно, да нам позарез необходимо! Мы настаиваем на чистоте габардина, хотя и признаем наш провал с партией шевиота.

– С какой партией?

– А вы не слышали? Еще при царе Горохе у нас образовалась партия шевиота. Матерь Божья, как мы с ней намучились! Стоит дорого, а качество, скажу вам откровенно, оказалось архиерейское…

– Что значит «образовалась» и «оказалось»? Разве вы не видели, что берете?

–Да нам все уши прожужжали, дескать, это – чистая шерсть. А на поверку? Провожу рутинный эксперимент. Выдергиваю шевиотовую нитку и поджигаю серной спичкой. Шерсть лениво тлеет. Но если в ткань добавлена бумага, то та моментально вспыхивает. И что же вы думаете? В строгом хронологическом порядке по мере поступления матерьяла вначале он тлел, потом стал загораться, а последняя штука уже пылала самым беспардоннейшим образом, как рулон макулатуры! Просто невероятно, но договор-то был заключен на всю партию… Хочешь не хочешь, а бери. Как мы купились! Вот уж, действительно, покупка века! Сами собой напрашиваются два вопроса: кто виноват и что делать?

Продавец замолчал, переводя узкий, словно прицеливающийся взгляд с мамы на меня. Казалось, что именно от нас ему хотелось услышать решение проблемы шевиота: от мамы – кто виноват, а от меня – что делать.

Увлекшись, он напрочь позабыл о том, что торопится. В нем проснулся духовидец, испытующий нас своим речевым напором.

– Так кто же, спрашивается, виноват? Где наш противник? – настаивал продавец, нанося фехтующий удар «метром» по невидимому бракоделу. Не получив ответа, он энергично зашагал вдоль прилавка, круто разворачиваясь на каблуках.

– Ясно, что сама партия тут ни при чем. Рядовая нить не повинна в том, что матерьял размокает от первого дождя, трещит, лопается, расползается на глазах как какая-нибудь эфемерная дрянь. И лишь при глажке продолжает еще пахнуть паленым, словно вспоминая о своем натуральном происхождении. Жалкие остатки былой роскоши! Где тот мерзавец, где тот отпетый негодяй, который от штуки к штуке наращивал содержание бумаги в шерстяной массе, бессовестно снижая ее качество?

От шевиота как такового он дошел до шевиота махорочного, пригодного лишь на самокрутки, и, продолжая движение по наклонной плоскости, докатился до шевиота туалетного, который можно было элементарно рвать рукой по предварительно пробитым через каждый метр микроскопическим дырочкам. Ситуация отчаянная. Как ее спасти?

Этот вопрос был адресован мне. Видя мое замешательство, мама поспешила на помощь:

– Безвыходных положений не бывает. Выход можно найти всегда.

– Какой? – вскинулся продавец.

– Например, я бы на вашем месте обратилась на ткацкую фабрику, послала бы рекламацию…

– Прекрасно! А фабрика сошлется на поставщиков дурного сырья. А поставщики сырья – на овцеводов. А овцеводы – на баранов, которые завели стадо на бесплодные плоскогорья. И в результате виновной окажется чахлая трава наших пастбищ, вынудившая поставщиков пойти на сверхнормативное бумаговложение! Кому предъявить вашу рекламацию? Траве? Баранам?

– Ой, ну, я не знаю… Я пришла габардин купить, а вы меня расспрашиваете о шевиоте.

– Не-ет, вы уж, голубушка, не ретируйтесь, сделайте милость. Назвалась груздем, полезай в кузов! Так что же прикажете делать с шевиотом?

– Снизить цену и продать.

– Никто не берет.

– Разрезать и пустить на портянки.

– Это бумажные-то портянки? Да они сопреют на первом же километре марш-броска, расквасятся, скатаются в жгуты, и армия пойдет босая с водяными мозолями, проклиная последними словами апологетов партии шевиота.

– Ну, подарите его кому-нибудь, наконец!

– «По-да-ри-те»! Вот именно! Гениально! Конечно, подарить. Наверняка и у нас, и в Европе найдутся заинтересованные организации, готовые клюнуть на халяву. И вот, посовещавшись с товарищами, мы даем лаконичное объявление:

«Ребята! Дарится партия отличного шевиота. Звонить туда-то; спросить того-то…» – И что бы вы думали? Расхватали на корню!

Вволю насмеявшись, продавец неожиданно повернулся ко мне:

– Майчик!

Я вздрогнул и отшатнулся от прилавка. В этом странном обращении – «Майчик!» – мне почудился собирательный образ мальчика в маечке. На мне и в самом деле была надета белая маечка, но под пальто и рубашкой. Выходит, продавец видел меня насквозь.

– Майчик! Почему ты трогаешь алый шелк? Ты еще не пионер? Плохо! Но это – беда поправимая. В твоем возрасте архиважно научиться играть на фортепьяно. Бетховен, Вагнер… Тебе знакомы эти имена? А, впрочем, когда подрастешь и будешь решать, кем быть, настоятельно рекомендую пойти по моим стопам – устроиться продавцом в магазин «Ткани» и посвятить свою жизнь борьбе за образцовое обслуживание покупателей! Так кем ты хочешь стать? – спросил продавец, не без лукавства поглядывая то на меня, то на маму.

– Капитаном дальнего плаванья, – ответил я и, подумав, добавил: – Или дворником.

Эти две профессии представлялись мне наилучшими. «Милая Одесса» была моей любимой песней. А дворник Трофим, косой с похмелья? Он же целыми днями гулял да гулял, играя в прятки с предметом, который все называли «метла», а он величал «*метло*»!

Покачиваясь посреди двора, он обыкновенно спрашивал:

– Никто не видел, где мой метло?

Ему отвечали, что видели.

–Где?

– В мусорном баке.

– Нету!

– В подвале под лестницей.

– Он лез и туда, но не находил. Тогда кто-нибудь нарочно говорил, что метла валяется на крыше.

– А как он туда попал? – изумлялся Трофим, но, впрочем, допускал и крышу и только осторожно интересовался: – А че он там делает?

– Отдыхает.

– А че он там отдыхает?

– Намаялся, пока чистоту наводил, вот и отдыхает.

– У меня чисто, – подтверждал Трофим. – У меня крыша, как паркет, елки-палки!

А продавец тем временем веселился:

– Капитаном дальнего плаванья хочет стать… Или дворником… Какой размах! Какая восхитительная полярность мечтаний!

По морям, по волнам,

Нынче здесь, завтра там… –

И запел, запел, дирижируя «метром»:

– По-о морям. Морям, морям, морям – эх! –

Нынче здесь, а завтра там.

Дивный выбор! Поздравляю.

Внезапно выражение его лица изменилось, он побледнел и резко сменил пластинку. Глаза продавца округлились, звонкий баритон превратился в заговорщический шепоток.

– Нам страшно нужны надежные товарищи! Мусор надо выметать без пощады! Обрезки, хлам, оберточную бумагу… Решительно и бесповоротно. Иначе мы зарастем грязью по уши, лишимся клиентуры и, в конце концов, нам придется закрывать лавочку к чертовой матери! Простите, мадам, – извинился он перед мамой и юркнул под прилавок.

Я не совсем понимал, о какой лавочке идет речь, ведь мы беседовали в большом магазине, построенном еще до революции. Но маме показалось, что разговор принимает нежелательный оборот, и она попыталась вернуть его в прежнее русло.

– У вас столько тканей, такое разнообразие, что просто глаза разбегаются… Будьте добры, покажите, пожалуйста, бежевый габардин. А что касается профессии, то у нас еще есть время подумать. В мире так много всего…

– А вот тут позвольте вам возразить! – вынырнул из-под прилавка продавец, раскатывая перед самым моим носом толстую штуку габардина. – И возразить принципиально. – В каком-то неестественном возбуждении он принялся метр за метром нанизывать тяжелые волны ткани на желтую линейку, вслух отсчитывая метраж. Видимо, слова «в мире так много всего…» случайно попали в какую-то его болевую точку.

– Раз… два… три…, – считал он, распахивая габардин. – В сущности, в мире нет ничего… четыре… кроме движущейся материи… пять…, – он ловко катнул рулон в сторону, – и движущаяся материя… шесть… не может двигаться иначе… семь… как в пространстве и во времени… восемь. Восемь метров вас устроит?

– Что вы! Куда мне столько? Метра три достаточно…

– Как прикажете.

«Габардинец» быстро скатал штуку и начал отсчет снова.

– Движущаяся материя во времени и пространстве. Больше – ничего. Все прочее – чушь собачья… раз… сущие бредни… два… сплошная белибердяевщина. Три. Не угодно ли накинуть аршинчик[10] на вашу полноту?

– А как же водяные в реках? – спросил я, вовсе не думая задавать этот вопрос. Я-то прекрасно знал, что никаких водяных не бывает, все это – сказки, но кто-то воспользовался за меня моим даром речи.

– Водяные? – удивился продавец. – И ты веришь в эти обветшалые, поросшие тиной бредни?

Конечно же, я не верил! Конечно, я был полностью согласен с «габардинцем», но некто опять вложил мне в уста то, чего я совершенно не собирался произносить:

– А почему же тогда мы говорим: «присутствие духа»?

После паузы продавец улыбнулся и широко развел руками:

– Ай-ай-ай-ай-ай! Нам бы еще манную кашу кушать за папу с мамой. Нам бы еще букварь по складам разбирать: «Ма-ша мы-ла Лу-шу». А мы уже рассуждаем о высоких материях. А мы уже отчаянно мешаем все, что только можно перемешать. Напрямик трактуем иносказательные выражения. И где? В магазине «Ткани», просто созданном для того, чтобы демонстрировать торжество материи над сознанием! Говорить здесь, в драпировках, о присутствии духа? Абсурд! Жалкая «тюря». И откуда ты только черпанул этой нищенской похлебки? Никаких сверхъестественных «духов» нет и быть не может. Есть мозг, чтобы думать, сердце, чтобы гнать кровь, легкие, чтобы дышать, ноги – покорять земное пространство, руки – держать прочный кусок материи. А тебя, проказника, я теперь вижу насквозь. В тебе сидит большой Рикошетник. Когда-нибудь он подведет тебя под монастырь!

Получалось, что продавец видел духов, как никто, а утверждал, что их нет…

Тем временем акулья пасть ножниц нырнула в габардиновую волну, сухо вспорола ее и защелкнулась. Волна мертвенно опала на прилавок.

Продавец завернул отрез в бумагу, придавил животом край свертка, но едва потянул покрепче упаковочную тетиву, как та лопнула.

---

[10] **Аршин** – мера длины, равная 0,7 м.

– Халтурщики! – взорвался «габардинец». – Даже веревки у них гнилые! Как можно отстаивать примат материи над сознанием с такими проходимцами? Если веревки рвутся, матерьял сечется, лохматится, горит синим пламенем, тогда грош нам цена со всей нашей материей, пространством и временем. Тогда любой рикошетник скажет нам: «Аршиннички липовые!» – и будет трижды прав!

Продавец потянул бечевку из клубка. Клубок, было, завертелся, а потом застрял.

– Что за черт? Кто там держит? Отпустите!

Сноровистым движением он перетер бечевку и стал крутить габардиновый тюк, возмущаясь про себя своими невидимыми пособниками:

– Ничего нельзя с вами по-человечески продать, иуды! Вы и Христа в потемках перепутаете и поцелуете какого-нибудь апостола Симона.

Не выдержав упаковочных мук, порвалась бумага.

– Не волнуйтесь, нам близко, мы и так донесем, – успокаивала мама продавца.

– Что значит «так»? Как это «так»? В раззяванном виде? Чтобы каждый встречный мог ткнуть пальцем: «Смотрите, какая у них культура обслуживания! Да у них культура от слова "куль"!» Позор на всю Метростроевскую улицу…

И тогда упаковщик совершил неслыханный по преданности делу поступок. Точными пассами коротких, цепких пальцев он расстегнул пуговицы на халате и выдернул из узких шлевок брючный ремень, свистнувший и метнувшийся в воздухе, как змея. Мгновенно рыхлый габардиновый узел был схвачен и превращен в плотный тючок, а хвост ремня вдет в тесное колечко кожаного тренчика.

Продавец подал тючок маме. Однако она отклонила этот галантный жест. Такая самоотдача показалась ей чрезмерной.

Отнюдь не собираясь уступать, упаковщик обратился ко мне:

– Упрямство – хорошая вещь. В борьбе за отличное обслуживание потребителя. Вы упрямы, а все-таки я вас переупрямлю! Майчик, возьми тючок, помоги маме…

Это был коварный ход, рассчитанный на мои сыновние чувства. Не помочь маме я не мог. Трудно было отказать и человеку, готовому снять с себя последний ремень.

– Давайте мы вам оплатим ремешок, – предложила мама.

– Ни в коем случае. Он поношенный. Я покупал его в Цюрихе еще до всех пертурбаций и теперь просто-напросто донашиваю.

– Тем более! Он же импортный.

– Нет, нет и еще раз нет!

– Ну, хорошо. Мы отнесем покупку домой, а потом вернем вам ремень.

– Не стоит труда. А, впрочем, как вам будет угодно. Рад, что вы приобрели наш габардин, но весьма сожалею, что бежевый, а не бордовый.

3

Дома царила торжественная тишина. Няня накрывала ужин, стараясь не звякнуть ложечкой, не скрипнуть половицей. Папа в мундире капитана юстиции сидел за письменным столом, конспектируя работу Владимира Ильича Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

Это было свято…

ЧАСТЬ II

* * *

Вечером дети с реки возвращаются.
Встречные ласточки пробуют петь.
Велосипедные спицы вращаются,
Как паутины упругая сеть.
Летней аллее конца не намечено.
Все это только еще началось.
Первый дымок долгожданного вечера,
Шелест колес и бесшумная ось.
Где-то танцуют, никто не прощается.
Вальс со второго звучит этажа.
Велосипедные спицы вращаются,
Стебель вплетенной ромашки кружа.

ДЯДЯ МИТЯ

Крупным планом вижу его руки на крутой шоферской «баранке»: кургузые пальцы-коротышки, усеянные черными волосками и точечками от волосков, настолько пропитанные бензином, что никакое мыло не может отбить жирный, маслянистый, въедливый запах моторного пойла. Перед красным светофором, когда фургон стоит, как вкопанный, а мотор продолжает трудиться – хлебать воздух, кряхтеть, клокотать, торкать, «баранка» гладкая сверху и волнистая с исподу отчетливо дрожит и в такт ей так же мелко

трясутся его пальцы, лежащие на разогретом руле, вибрирует каждый волосок. Потом зажигается желтый глаз, дядя Митя схватывает ручку коробки передач, торчащую сбоку от него, как палка; со скрипом, преодолевая упор, виляет ею влево, вправо, а на зеленом перемиге утапливает сношенным башмаком узкую педаль и колымага, как следует встряхнувшись, трогается с места.

Туловище у дяди Мити вытянутое, а ножки короткие, поэтому, когда я сижу рядом с ним за лобовым стеклом, он кажется много выше меня, а когда командует: «Выходи. Приехали», – и мы оба спрыгиваем со ступенек на землю, я как будто подрастаю и разница в росте скрадывается.

Фургон, который водит дядя Митя, – милицейский, а милиция вызывает во мне смешанные чувства. Милиционерами детей пугают («Смотри у меня! Не будешь слушаться, сдам в милицию!»), зато работа регулировщика на перекрестке восхищает картинной точностью движений. Среди потоков машин, их непрерывного гула, сигналов, то басовитых, то резко взвизгивающих, регулировщик напоминает дирижера уличного оркестра. Он репетирует музыку улиц! А как радостно первого мая на засыпанном цветами и флагами Арбате встретить вдруг дальнего соседа по даче, молодцеватого Арнольда в парадном мундире майора внутренних дел с косым ливнем боевых орденов на груди! Щелкнув каблуками, Арнольд приветствует нас, вскинув руку под козырек, и удерживает черно-белым жезлом нетерпеливые такси, пока семья пересекает Арбат. Это – уже не репетиция. Это – праздничный концерт.

Я любил наш дом на углу Соймоновского проезда и Кропоткинской набережной, молодой сквер возле дома, Москву-реку, близкий Кремль. Гордился тем, что живу если не в сердце Москвы, то в самом ее предсердии. То пространство, где ныне расположен храм Христа, занимала тогда грузовая автобаза. Ее окружал забрызганный жидким цементом и наглухо окаменевший забор, за которым постоянно ворочались тучи немытых самосвалов. Мне и это нравилось! Мне, но не маме. Похоже, сильное впечатление произвел на нее один подгулявший механик с переломанной гармошкой, едва волочивший ноги вдоль забора после получки. Время от времени он припадал к шершавым доскам, роняя гармонь, потом долго выбирал инструмент из грязи и, размазывая ее по кнопкам, жаловался нараспев всей округе:

Я потерял свое здоровье
На автобазе номер три!..

Если здоровье потерял взрослый мужчина, то, тем более опасаясь за меня, мама терпела «автососедство» лишь по весну, а в конце мая отправляла нас с Филипповной на все лето в «Заветы Ильича» – на дачу.

Готовясь к отъезду, няня брала железную канистру, и мы шли в керосинную запасаться топливом для «керосинки» и керосиновой лампы, а также всякой москательной надобностью. Скрытая от посторонних взоров, маленькая керосинная притаилась в одном из окрестных дворов. Впечатление, которое она производила на меня, достойно того, чтобы не умолчать о нем.

Керосинная посажена глубоко в землю, а сверху завалена дерном, на котором весной распускаются одуванчики. Они, точно цветы на дамской шляпке, придают лавочке вид неделовой и даже легкомысленный, что поначалу сбивает с толку, как ловкая маскировка, ибо ничуть не соотносится со всей серьезностью заведения. Еще бы! Там, под одуванчиковой шляпкой, прячется не какая-нибудь вертушка-цветочница, а сам Керосинщик. Толстый, степенный армянин с вечно сизой щетиной на округлых кошачьих щеках (няня зовет его – «Мурластый»), со щетиной, которая, кажется, отрастает у него уже под бритвой, так что к концу бритья можно начинать бриться снова, – Керосинщик этот сперва невидим. После солнечного света полумрак лавки кажется непроглядным, как будто вошел в кинозал посредине сеанса: переступаешь ощупью, хватаешь руками по сторонам, натыкаешься на ноги, все вокруг шикают, а ты винишься, что опоздал и не видишь своего места. Лишь постепенно темнота редеет. Так и тут. Наконец-то замечаешь перед собой за низеньким прилавком хозяина в черном халате, натянутом на животе, как на барабане.

– Кто крайний? – занимает очередь няня, а я – рядом с ней.

Растопырив локти, Керосинщик священнодействует литровым ковшом. Очередь как будто загипнотизирована его пассами. В абсолютной тишине алюминиевый ковш стукается о борт железной бочки. Она огромна, она полупуста, но бездонна. Долгая деревянная ручка ковша потемнела и набухла не столько от пролитого керосина – хозяин аккуратен – сколько от синеватого керосинного духа, пропитавшего все вокруг. Отчетливо слышу, как тяжелая маслянистая жидкость глухо булькнула – это ковш проглотил первый литр питья, и вот осторожной струей оно уже переливается в канистру. Взгляд Керосинщика сосредоточен на струе и горлышке канистры, в которое вставлена короткая воронка. Рука слегка подрагивает и струя шевелится в воздухе, как туловище живого змея, рискуя проплеснуть мимо, готовая превратиться в пляшущего огненного

дракона, найдись поблизости хоть одна искорка! Но это исключено. Беззвучно шелестя губами, Керосинщик отсчитывает литры, объявляя вслух последний:

– Дэсять, – и обтирает теплые лоснящиеся ладони о нитяную ветошь, собранную в ком.

Теперь Мурластый считает деньги: влажную мелочь и вонючие, жирные рубли, которые хорошо бы проветрить, как бельецо, на веревочке – так они шибают в нос.

Кроме керосина лавка торгует всякой всячиной: гвоздями – от меленьких, как патефонные иголки, до «корабельных», толщиной в палец (такие хоть в палубу заколачивай!), краской в круглых банках, олифой. На полке блестят английские замки, на прилавке липкой горкой лежит мокрая серая замазка, похожая на промасленную халву. Сходство усилится, когда замазка подсохнет и начнет крошиться.

На губах у меня противный керосиновый налет.

Наша очередь. Филипповна пододвигает к хозяину трофейную канистру:

– Нам бы красинчику… Чичас раскумбрю, – суетится няня, размыкая крышку на горлышке.

– Сколко? – спрашивает Мурластый, вставляя в горлышко воронку.

– Десять литров улить можно?

– Почему – нэт? Сколко надо, столко отпущу.

Очередь с величайшим терпением, затаив дыхание, дожидается, пока Керосинщик ведет свой беззвучный счет, завершая его сказанным вслух: «Дэсять!» – и облегченно вздыхает вместе с ним, обтирающим ветошью ковш.

Между тем мама накупала съестных припасов, ведь на даче никаких магазинов не было, и еду приходилось таскать из Москвы («Что потопаешь, то и полопаешь»). Вместе с няней увязывала вещи, постели. Паковала в коробки кухонный скарб. Все это нужно было перевозить.

В день отъезда завтракали на скорую руку. Няня спрашивала:

– Тебе яйцо усмятку сварить али вбить, яешню сделать?

– Яешню.

За завтраком папа просматривал «Советский спорт», улыбаясь успехам своего любимца, гроссмейстера Пауля Кереса, а мама просила:

– Отложи газету. Ну, кто за едой читает? Не показывай пример!

– Сейчас, – соглашался папа и продолжал чтение.

В сборах он не участвовал, на дачу не переезжал. С утра толковал статьи кодекса военным юристам, днем, если удавалось, спал, накрывшись с головой пестреньким

маминым халатом, по вечерам разбирал партии Кереса или встречался с хорошими, крепко пьющими друзьями (фронтовики!), а потом допоздна готовился к новой лекции, выгоняя хмель строгим параграфом уголовного права. В многолетнем матче Керес–«Херес» успех склонялся на сторону последнего. Гроссмейстер все чаще проигрывал. Одним словом, папе было не до дачи. Туда он заглядывал иногда по воскресеньям и с дядей Митей был едва знаком.

Я мог бы удивляться тому, как уживаются во мне любовь к папе с горячей симпатией к дяде Мите, хотя, что у них общего – не понимал. Папа – ученый, преподает в академии, дядя Митя – шофер, возит милиционеров. У папы денег и на ресторан хватает (в крайнем случае, займет у Филипповны из ее няниного жалованья, которое она по-крестьянски подкапливает, почти не тратя); а дядя Митя, судя по всему, перебивается с кваса на воду. Папа всегда умен, часто остроумен, плюс, когда выпьет, еще и красноречив; дядя же Митя – хоть и умный, но молчун, вина в рот не берет. Папа – подвижный, в счастливые минуты полный азарта, а дядя Митя всегда какой-то приглушенный, как будто немного затюканный. Он основателен, хозяйственен, нетороплив, а вот, если какой-нибудь водопроводчик по своему обычаю назовет папу «хозяином», то сразу же смутится от неловкости. Мама – хозяйка, няня – хозяйка, это да, а хозяина у нас нет. Дядя Митя живет в мире людей и вещей, а папа – скорей в мире мыслей, книг и желаний. И все-таки я почему-то был уверен, что они могли бы подружиться, особенно, если бы дядя Митя играл в шахматы. Мама как-то сказала о нем:

– Смотрите: дядя Митя без образования, а какой человек интеллигентный!.. – однако это решающее замечание я по малолетству пропустил мимо ушей.

В отличие от Арнольда, дядя Митя был нашим ближайшим соседом по даче и жил там постоянно, зимой и летом, а работал в Москве. Хотя приезжал он за нами всегда в точно оговоренный срок и ждал я его с нетерпением, все-таки каждый раз возникал он передо мной неожиданно, правда, в этой неожиданности скрывалась и какая-то обычность: он был привычно неожидан. Вот его еще нет, нет, нет, а вот он уже подхватил самые тяжелые вещи, которые я не могу даже с места сдвинуть, и понес к машине. Мама кричит ему вслед, чтобы он вместо тяжестей взял что-нибудь полегче, но дядя Митя на легкое не согласен. Если он возьмет легкое, то кому же тогда достанется тяжелое? Маме?

Ну, пора!

В дорогу хозяйка одевается во все самое простое, опасаясь, что на последних километрах из нее «всю душу вытрясет». Филипповна внизу дежурит у фургона, а

водитель плотно устанавливает поклажу в крытый синий кузов, по борту которого бежит надпись: «Милиция».

Кузов упакован. Мама с няней устраиваются на лавке среди вещей за спущенными по окнам гофрированными шторками (необходимая маскировка), а я усаживаюсь в кабине рядом с водителем. Дорогу я, конечно, не помню – целая зима прошла! – но ее и не надо подсказывать, ведь шофер едет к себе домой.

Мы медленно выруливаем на пустую набережную. Проезжаем мимо Дома правительства, расположенного на том берегу. Разгоняясь, подныриваем под Каменный мост. Катим вдоль кремлевской стены.

Мама стучит к нам в окошечко за спиной. Водитель останавливает фургон и идет посмотреть, что случилось. Наверно, сдвинулись какие-то вещи и надо их потуже закрепить.

Я хорошо сознаю всю необычность места нашей остановки. Позади – угловая Водовзводная башня Кремля, а здесь, за красной стеной, в двух шагах от нас в своем рабочем кабинете трудится друг всех народов. Он умудрен и всевидящ. Может быть, сейчас он смотрит на меня поверх стены, а вообще-то ему, раскуривающему у окна ароматную вишневую трубочку, ничего не стоит проникнуть взором и сквозь кирпичную кладку, не говоря уже о маскировочных шторках:

– Что это там за милицэйский фургон остановился? Нэ порядок… Кто разрэшил на служебном транспорте дачников перевозить? Гдэ начальник гаража? Вот я ему сэчас нос откушу!

Фургон стоит на безлюдной набережной перед Кремлем. Я сижу в кабине один. К машине, оглядываясь и слегка пригнувшись, подходит незнакомый мальчишка. Он подает мне знаки, как бы выманивая из кабины. Приоткрываю дверцу и слышу незабываемое:

– Пацан, беги!..

Парень уверен, что меня схватили и везут в тюрьму, что кузов набит милицией, но, по счастью, что-то произошло и на какое-то мгновенье я остался без присмотра. Сейчас или никогда! Он открывает дверь нараспашку:

– Пацан, беги!..

Но далеко ли мы убежим? Справа – река, слева – стена. Тем более что мне вообще не надо никуда бежать! Я ждал дядю Митю. Он приехал после ночной смены, чтобы отвезти нас на дачу. Но это – наша тайна. Я не могу в ней признаться. Хотя, кому положено, тот и так знает…

Пожимаю руку мальчишке и говорю тихо:

– Я на дачу еду.

Он присвистывает, снова прочитывая надпись по борту: «Милиция» и кивает:

– Тогда бывай…

– Коробки поправил, – объясняет дядя Митя, отруливая от тротуара, и больше уже ничто не может остановить нас, кроме светофоров.

Никаких сирен у нас нет. Все равно грузовики и легковушки сторонятся, пропуская милицейский фургон. А, вырвавшись из городского каменного кольца на Ярославское шоссе, мы и вовсе мчимся шибко-шибко, так, что, кажется, у мотора прибыло сил на вольном воздухе Подмосковья.

Прощайте, хмурые теснины, двор-колодец, переулок-ущелье! Въедет в него самосвал на том конце, а гул уже бежит, бежит впереди: «Ждите, еду!» Прогрохотал. А эхо долго еще дрожит, отскакивая, как мяч, от стены к стене, от стены к стене… То ли дело сельская ширь! Сколько простора и света! Летят поля… Мелькают деревянные, почерневшие от нужды и старости домишки под косыми крышами, такие родные и милые, похожие на пригорюнившихся бабушек в платочках. Город выписывает облака в проемы над головой, как хлеб по карточкам, а здесь неба больше, чем земли.

Некоторое время над нами парит одинокая птица.

– Коршун, – показывает глазами дядя Митя.

Потом птица сносится ветром и пропадает.

С утра шел дождь, а теперь выглянуло солнце и асфальт блестит, словно туго накатанная зернистая лента.

Издалека надвигается встречная «пятитонка». С нарастающим шумом проносится сбоку и мы опять одни под голубыми просветами дымно-серых небес.

После ночной смены лицо у дяди Мити потемнело от усталости. Наверное, его морит сон, потому что он просит меня все время с ним разговаривать. И я расспрашиваю, расспрашиваю его о старшем сыне Вовке – расторопном, хозяйственном малом, который уже ездит с отцом на том же фургоне за комбикормом для кур, о младшем сыне Мишке – попрошайке и жалобщике, вечно путающемся в длинных, как вожжи, соплях; о дочке Лидочке – противной пискле, не слезающей с рук матери. Дядя Митя, как взрослому, рассказывает мне о том, что его жена тетя Клава зимой сильно болела, что прошлым летом их корова зашла в клевер и объелась чуть не до смерти, но сейчас – слава Богу…

Мы сворачиваем к железнодорожному переезду между «Пушкино» и «Заветами…» Неуверенно качнувшись, колымага въезжает на дощатый настил, осторожно переваливаясь через полированные рельсы.

Шоссе кончилось – отошла дорожная «малина». Впереди – последние километры раздрызганной вкривь и вкось, измордованной колесами проселочной колеи.

Мотор взревывает, как бурый медведь-берложник, передние шины сползают в нарубцованную кашу дремучего бездорожья и кузов начинает кидать по сторонам вместе с кабиной. Я крепко держусь за ручку на дверце, но все равно торкаюсь то в боковое стекло, то в дядю Митю. Он вцепился в «баранку», сон как рукой сняло:

– Ничего… Пробьемся! На фронте хуже было.

И мы пробиваемся, раскатывая вязкие лужи, юзом скользя по краю клеклых колдобин, яростно буксуя и выбрасывая из-под колес косые ошметки расквашенной глины!

Дядя Митя обеими руками со страшной силой вертит «баранку», балансируя ею, словно канатоходец противовесом, стремясь удержать неустойчивый фургон, и бьет меня локтем по ребрам: «Терпи, казак!»

Маме с няней еще тяжелей. На них отовсюду валятся вещи. В упавшей канистре хлюпает керосин. Лишь бы не застрять! Лишь бы не застрять! А ветки колотят о крышу; буйной зеленью прохлестывают по стеклам. В приоткрытое окно потянуло свежим духом елового бора, кипящей сирени, цветущего луга… Последний поворот перед дачей артистки Орочко.

Стоп, машина! Дядя Митя вырубает мотор.

Сразу становится оглушительно тихо.

Я слышу, как поблизости за соседской калиткой ревет трехлетний Борька, а бабушка внушает ему, сама поражаясь своей прозорливости:

– Что я тебе говорила? Не будешь бабушку слушать – достукаешься. Вот и достукался. Смотри: уже милиция приехала!..

«ПАРОВОЗИК»

Очень важно легко начать, взять верный тон, не огорчаться, что все еще спят, а побыстрей проснуться самому, освободиться от горячих объятий сна и побежать, побежать, побежать, выдыхая перед собой невидимые клубки пара, ритмично перебирая маленькими шатунами локотков и коленок, работая поршнями кулачков и при этом ни обо что не задевая, ловко лавируя между плетеными креслами и столиком – в дверь:

– Следующая станция «Терраса»! Следующая станция «Крыльцо»!

У-у-ууу!.. – заливаясь про себя протяжным, до печали сладостным стоном паровоза – по сту-пе-ням в сад, провисший виноградными кистями сирени, обморочно-темный и влажный после дождя и – нараспах калитку! – в мир дышащий, переливающийся, гомонящий, переполняющий тебя великой и вольной радостью жизни.

Всякое дыхание да славит Господа!

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС

Утро, июньское утро в Подмосковье – легкое, умытое рассветным дождем, чуть подсушенное еще не жарким солнцем, мерцающее росой, холодящей босые ступни!

Тяжелые двухэтажные дачи, как в гамаки завалившиеся в густые заросли орешника и сирени, завешенные хвойными рукавами стоярусных елей. Слоистые, покоричневевшие от старости доски дач; темные щели, из которых тянет сыростью, плесенью, мрачным языческим лесом.

Открытая тонкая рама на втором этаже под гипсовой маской античной богини. Лик богини строг и овален, как медальон, бел и рельефен, точно камея на коже, почерневшей от загара.

Утро спящее, дремлющее, пробуждающееся ото сна… Сиреневая прядь, льнущая к окну, и женский голос, льющийся над садом:

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит…

Мне лет семь. Я останавливаюсь по дороге с колодца в узком проулке перед коричневой дачей. В руках у меня бидон и чайничек. Я держу его криво и не замечаю, как струйка из носика, перевиваясь, течет на траву.

Косые – веером – потоки света пронизаны словно оттуда же с облаков ниспадающими волнами сопрано.

Человеческий голос божествен. Он дан нам затем, чтобы напомнить, что мы не одиноки в мирах. Рожденный в груди, покинувший ее, он осеняется свыше невидимым Распевщиком, напутствующим его и устремляющим в наши души. Между поющим и слушающим стоит некто Третий, единственно владеющий тайной песнопения. Музыка и есть ощущение Его присутствия.

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит…

И я хочу только, чтобы все это замирало, не стихая, зыбилось, не меняясь, слышалось, не продолжаясь. Мне не нужно других слов, иной мелодии. Ничего больше мне не надо. Да и может ли быть что-нибудь большее, нежели это неведомое пенье на июньской заре, наполняющее сад вечным предвосхищением счастья?

ТЕРРАСЫ

Это была странная дача. Поделенная между двумя хозяевами на две половины, она стояла на покатом лугу так, что южную террасу требовалось покорять как вершину, взбираясь к ней по крутой деревянной лестнице, тогда как северная просто лежала на земле, со всей убедительностью оправдывая свою латинскую этимологию – «terra»[11].

Зимой на даче не жил никто. Зато весной, не позже середины мая, южная половина дома оживала, наполнялась детским щебетом, возгласами взрослых и ворчанием стариков, а по субботам – шипучим пощелкиванием древнего патефона с загнутой мускулистой ручкой циркового борца, чей оттопыренный игольчатый мизинец ритмично спотыкался на трещинках кружившейся пластинки, обкатанной, тугой и блестящей, как испещренный мелкими рисками асфальт после дождя.

На южной половине дома распускались два огромных куста сирени: белый и нежно-фиолетовый. Пушистый шмель, волнуясь, уходил внезапно из-под самого твоего носа в густую темень крупной листвы и просторный, приторно-сладкий сиреневый аромат непобедимо царствовал вокруг. Из дома выносили летнюю соломенную мебель: кресла, диванчик, волнисто-плетеный столик и, – доступную дань легкому барству, – льдышки оплавленного стекла с яркими факелами малинового мусса.

Начинался патриархальный домашний концерт. Дети танцевали с цветами. Старший брат «приглашал» ветку сирени, средний в тон ему – букет незабудок, сестру «выбирали» нарциссы, а соседская девочка, дразнясь и гримасничая, прыгала за кустами с пучком молодой крапивы. Радостью светился дом, точнее, южная его половина, поскольку другая – северная – и летом оставалась заколоченной, темной и пустой. Туда никто не приезжал.

Детьми мы собирались в будни на открытой северной террасе. «Ничьей».

---

[11] **Terra** (*лат.*) – земля.

Греет утреннее, жаркое уже, вставшее над лесом солнце. Серые покоробленные доски террасы пуще гвоздей расщеплены июльским пеклом. В иссушенном воздухе колеблются осы, свившие под потолком серый шар легкого и хрупкого, точно махорочная бумага, гнезда. Осиные жала жгучи как стрелы осиновых заноз, а доски террасы горячи и шершавы.

Снизу, из-под кирпичного разлома тянет по ногам крепким эфирным холодком, терпкой плесенью подземелья. Встанешь на коленки, заглянешь вниз и вдохнешь застарелую кладку спрессованных глин, сырость битого кирпича, прель цветочного задохнувшегося кувшина. Что скрывается там, в этом студеном подполье? Нет, даже не в нем, а за ним, внутри его собственной тайны?

Терраса юга будоражит взрывами смеха, взлетающей к синеве белой сиренью, кипящей, как рис, на горячем ветру, игрушечным шуршаньем медленно выползающий из-за куста патефонной змеи, мягко навевающей в воздухе свои шелестящие кольца. Северная же сторона томит нелюдимостью, немотой, молчаливым оцепенением тайны. В ней чудится какой-то зов. Есть в ней что-то неутоленное, словно всеми покинутый дух забвения следит за нами из-за ее осевших углов, из покосившихся окон – не позволяет уйти, но не дает и раскрыть себя. Как будто он знает, что дом держится только тем, что его веселость уравновешена его тайной, а если тайна раскроется, то и веселье канет куда-то, все обрушится, и в памяти не останется ничего…

БОЖИЙ ПЕРСТ

– Нянь, а почему ты в Бога веруешь?

– Дак как же в него не веровать?

– Но Его же нет! Где Он?

– И хто тебе сказал, что нет?

– Все говорят.

– Мало либо что говорять! Он увезде. Я тебе чичас быль расскажу – что на самом деле было. У нас у деревне…

– До революции?

– Конечно. Я ишшо малолетка была несмысленая. Уроде тебя такой же шшибленок, рикошетница. Ну, слушай…

Косьба была. Лето. Сушь. Отец накосил на зиму скотине: и коровам, и лошадям, и овечкам. И видить: такая туча заходить – страсть! Да-а… А воскресенье было.

– Давайте, – говорить, – сено сгребать у копны, а то ливень нам усе чисто вымочить. Глянь, дожжи пойдуть – увесь труд пропадеть.

Ему говорять, дескать, усядься, Хвилип, воскресенье нонча.

– Ну, дак что ж что воскресенье?

– Как «что»? Грех работать. Нельзя!

– Хто сказал, быдто грех?

– Бог не велит.

А он, отец-то, возьми да скажи: «Мне Бог не указ!» – и усе. На месте прализовало.

– Как «прализовало»?

– А так, что руки-ноги отнялись. И язык отнялся. Остались у матери: дедушка – двеносто лет, нас семеро да отец прализованный.

Тогда я и уверовала…

ТИТИНИКА

Дача, на которой мы жили каждое лето, принадлежала нашей родственнице. Звали ее Зинаида Константиновна. Но так к ней никто не обращался. Все произносили имя ее не целиком, а уменьшительно, зато отчество выговаривали отчетливо – во всю его пятисложную длину: Зина Конс-тан-ти-нов-на. Прежде чем осознать ее саму, я стал осознавать ее имя-отчество, и скромно-коротенькое «Зина» совершенно терялось рядом со звучно диссонирующей «Конс-тан-ти-нов-ной»… Прихоти детского слуха необъяснимы. Странным образом это бескрайнее отчество преобразилось во мне под каким-то гулким фонетическим куполом, раскинувшимся выше и прежде смысла, одушевилось чем-то легким, тенькающим, как бы мелькающим в ветвях, пульсирующим в их светотени.

Титиника! – вырвалось у меня ненароком и осталось навсегда.

Видно, прозвище это пришлось ей по душе. Каждое мое окликание веселило ее. Взрослые в моем присутствии привыкли звать ее так же. Няня, выговаривавшая на свой манер *Зина Костятиновна,* наклонясь ко мне, скажет, бывало:

– Вон, гляди-кось, Титиновка твоя с Москвы едеть… Устречай.

И я устремляюсь к калитке с безотчетно радостным: «Титиника!»

Была она бабушкой моего двоюродного брата Лени, но почти настолько же и моей. Очень худенькая, невысокая, молчаливая, однако не хмуро молчащая, а какая-то волшебно немногословная, как фея, творящая добро таинственно и безмолвно. У нее был низкий, глуховатый голос давнишней курильщицы. Серые глаза смотрели ласково и печально. Она носила шелковую или шерстяную кофточки, перекалывая с одной на другую свою любимую овальную брошь – фамильную камею: рельефную головку старинной красавицы, ее профиль с распущенной прядкой волос, вольно сбегавшей вдоль виска.

Иногда я счастливо вздрагивал, различив ее в сумерках, как будто слившуюся с кустом сирени, а потом отклонившуюся от него, словно ветка, наполненная птичьим щебетом: «Титиника!» А то угадывал ее присутствие по аромату душистых папирос, которые она курила, или по синеватому облачку табачного дыма, оставленного ею на крыльце, когда она была уже в глубине сада или по горстке горячего пепла, рассыпанного на перилах…

Она дарила мне шоколадные «бомбы» – полые шары в золотой фольге с серебряными колокольчиками внутри. Она предоставила в мое распоряжение сад с грядками обильно-спеющей клубники, колючим малинником, лиловыми сливами, точно подернутыми первым инеем. Я продирался сквозь цепкий крыжовник, тянулся к гроздьям красной смородины, срывал веточки сдвоенных вишенок, подобных нотным «восьмушкам».

В будни днем Титиники на даче не было. Она работала на очень важной и трудной работе – в Телеграфном Агентстве Советского Союза. Сокращенно оно называлось ТАСС. Я гордился тем, что такое необычное слово то и дело встречалось в газетах, звучало по радио в самых торжественных или в самых тревожных случаях:

– Передаем сообщение ТАСС… – и вся страна замирала у радиоприемников.

Меня забавило и возмущало то обстоятельство, что няня на вопрос: «А где Зиночка Константинна работает?» – неизменно отвечала: «У Тазе».

– Еще скажи в тазу, – обижался я на Филипповну.

– Не у тазу, а у Тазе, – поправляла меня няня.

– Что она там – белье стирает? – утрировал я.

– Не путляй! Какое тебе ишшо белье? Белье у тазу стирають, а у Тазе делають заявления.

Зато по вечерам Титиника часто приезжала к нам, то есть к себе. Приезжала тихая, усталая. Поклюет-поклюет что-нибудь с веток, выпьет дождинок со смородинового листка похожего на утлую лодочку. Наверно, и поест, но этого я не замечал.

Мужа у нее не было. Было двое взрослых сыновей. Один жил в Москве, другой – на Урале. Не знаю, дружила ли она с ними. Мне казалось, что до рождения родного внука, больше всего времени она проводила со мной. Мы ходили на реку – и в зной студеную Серебрянку – с течением острым, как колющие иголочки льда. Купание взбадривало ее, оживляло. Она что-то рассказывала мне или слушала мой лепет с тем восхищенным удивлением, с каким очень умные, умудренные жизнью взрослые вникают в наивные речи младенцев, находя в их речах правду, недоступную самим младенцам.

Она любила моих маму и папу. Ей было с ними интересно. Она окрылялась в их присутствии и воодушевляла их. Ее любовь и душевную заинтересованность к себе я перенял от них как бы по наследству. Чувствовалась, что она ждет от меня чего-то особенного, потому что знает и любит их.

Потом мы не виделись долгое время и последний раз встретились в Москве, в семейном кругу. Все были радостны. Папа шутил, мама смеялась, а я гадал, как мне обратиться теперь, когда я вырос, к Зинаиде Константиновне: полностью или по-старому, то есть по-детски. Как?

Она уловила мое замешательство и сказала счастливо и грустно:

– А я бы хотела остаться *Титиникой*…

* * *

Летние птицы перекликаются в зеленой гуще. Голоса их зыбятся, дрожат, перелетают, выщелкивают, оттенькивают, славят свое, родное, то горько-длящееся, то сладко-замирающее на полузвуке; то, что достается нам даром и забирается без спросу, блеснув напоследок солнечными брызгами самозабвенно и кратко: жизнь.

БЕЛАЯ УТОЧКА

Каждое воскресенье мы с Филипповной провожали в Москву маму, папу и гостей, если те приезжали к нам на выходной. Переполненная электричка, оглушая округу резким, терзающим слух свистом, налетала со стороны Загорска, не более минуты задерживалась у платформы и, злобно лязгая, укатывала по иссеченной стальной колее, а

мы оставались одни, как сироты, на потемневших досках настила, пружинивших под ногами и приподнимавшихся на швах вместе с гранеными гвоздями, словно узкие зубастые пасти. Каждый воскресный вечер я жил ожиданием неотвратимой, неминуемо-точной, как дорожное расписание, разлуки, видел хвост уходившего поезда, вмиг обезлюдевшую выщербленную платформу с прилепившемся на краю ошметком синеватого «Беломора» и размыканным по доскам билетным мусором и брел обратным путем к даче – сумеречным, немилым, безнадежно повторяя про себя одно и тоже:

– Уехали… Уехали… Уехали…

Дача пуста, черна, безмолвна, разве что в нашей всегда прибранной комнате четко и чисто стучат настенные «ходики», да мерно – зубец за зубцом – сползает по шестеренке длинная цепочка с повисшей на конце медной гирькой. Где-то в стороне отчужденно и мрачно тянется клич электровоза, ритмично качаясь, невидимой чередой шумят и шумят груженые ветром вагоны…

– Ну, слава Богу, наши скоро дома будуть! – говорит Филипповна, сладко позевывая и расстилая мою кроватку.

– И я в Москву хочу… – позволяю я, наконец, излиться своему горюшку.

– О-хо-хо, усе хотять у Москву разгонять тоску! – отзывается няня. – А по мне и тут хорошо. Чичас ночь, темно, а завтрева, глянь, солнушко устанить, погода наладится, гулять пойдем, – утешает она меня.

Но от ее утешений мне становится только хуже. Почти всхлипывая, ложусь под одеяло.

– Давай я тебе сказку расскажу, – предлагает Филипповна, подтягивая на ночь гирьку «ходиков».

– А какую сказку?

– Антиресную. Про вуточку.

– Про какую уточку?

– Да про белую.

– Расскажи.

Няня укладывается на свой диванчик и в тишине под тиканье «ходиков» начинает рассказывать.

– Значить, князь один жанилси да так, что жану ему Бог послал лучче некуды.

– Красивую? – спрашиваю, вздыхая.

– Красавицу! И вумная, и обходительная, и смастоятельная.

Но правду говорять: век обнямшись не просидишь. Приспичило ему, князю-то, ехать…

– Куда? В Москву?

– А я почем знаю? Может, и у Москву… Однем словом – ехать. Увобче… Ну, жана у слезы, дескать, на кого ты мине бросаишь, на кого ты мине покидаишь? Как я без тебе жить буду?

– А ты говорила, что она самостоятельная!

– Правильно. Да она ж яво любить… Вот он ее стал уговаривать: погоди, мол, я скоро назад обратаюсь. Потерпи маленько. Да из терему не выходи, к чужим людя́м не прилипляйси, худых речей не слушай, что оне там тебе наговорять. Жана бешшалась. Ну, вот. Он и уехал, куды ему надоть, а та у себе притулилась, смирно сидить, не выглядываить.

– Где сидит? В светлице?

– У светлице али у горнице – усе рамно. Глядь, женщина идеть…

– Хорошая?

– Один вид, что хорошая, а на самом деле обманщица… «Что, – говорить, – ты, жана, скучаишь? Ай, Божий свет не мил? Как ни что, а усе погуляла б – другое дело было б… Устрела бы кого, развеселилась…»

А та и думаить: «И то правда. Похожу-ка по саду – невелик грех!» А у саду ключ бьеть.

– Какой ключ?

– Ну, навроди родника. С-под земли вода тикеть у возеро. Ей женщина-то ета и говорить:

– День нонча жа-аркай, ишь как печеть! А водица у ключе холодна, студена… Давай купаться?

– Нет, не хочу! – жана-то. А сама думаить: «Ить искупаться большой бяды не будить!» Скинула сарахван на пясок и у воду – прых! А обманщица спапашилась да и шлеп ее по спине: «Плыви, плыви белой вуточкой; гони, гони студену волну!»

Та и обратись у вуточку, и поплыви…

В комнате темно. Филипповну я не вижу, только слышу ее голос и встает перед глазами прохладный ключ, озерцо, а по нему, перебирая лапками, быстро-быстро плывет несчастная белая уточка.

Живых уточек я еще не видел, но однажды на Усачевском рынке мне купили игрушечную – желтую, как свечка. Дома я пустил ее в ванну. Она не тонула. Я

подплескивал сзади ладошкой, волна подталкивала уточку и она потихоньку плыла, но таяла, таяла…

– … а он и не распознал, – слышу я нянин голос и понимаю, что отвлекся, потерял нить сказки.

– Кто не распознал?

– Князь. Еттой ведьмы-обманщицы не раскусил.

– А он вернулся?

– А то как же? А она яво жаной обратилась, я уж тебе сказывала. Ай, прослушал? И сарахван ейный на себе надела. К князю присуседилась: цалуить яво, мялуить – вроди как радывается. А он и не распознал!

– А дальше что?

– Что ж дальша?.. Вывела вуточка деток, да не вутят, а ребят. Двух справных, а третьего хворого. Вырастила их, выходила, а оне уж не хотять кылы матери находиться. И узабрались рикошетники на княжий двор. Ведьма учуяла вуточкиных ребят – сперва накормила их, напоила, спать уклала, а сама огонь развела калиновый, ножи точить каленыи… Не бойся, усе ладно будить!

– А я и не боюсь, – отвечаю не вполне уверенно. На самом деле мне страшновато, но подавать виду не хочется.

– Вот заснули два брата, а хворый не спить. Озяб дюже. Лежить у старшого за пазухой – греется. Ведьма стала под дверью да и спрашиваить:

– Спите вы, детки, спите, малыи, аль нет?

Хворый отвечаить за усех:

– Куды ж тут спать? Не спим – думу думаим, как хотять нас порешить: огни кладуть, ножи точють…

Она ушла. Походила-походила, опять под дверь:

– Спите вы, детки, спите, малыи, аль нет?

Хворый ей то же поуторил.

«Что ж ето, – думаить, – усе один голос отвечаить? А остальныи-то иде ж будуть? Ну-ка, спытаю, узайду…»

Узашла. Братья спять. Обвела их мертвой рукой – оне и преставились.

Я лежу, не шевелясь. Жду – что дальше?

– Ты слушаишь? – спрашивает няня.

Еще как слушаю!

– Да-а…

– А вутром белая вуточка (мать, значить) кличить детушек, а те молчать. Полетела она на княжий двор, а там лежать оне белыя, ромно платочки; холодныя, ромно пласточки. Закричала она у крик:

– Детыньки мои ро́дныи!..

Запричитала. Князь услыхал.

– Слышь, – говорить, – жана, чтой-то вутка расшумелась?

А ведьма отвечаить, мол, етто тебе придеелось, быдто у во снях.

– У каких ишшо у во снях? Как придеелось, кады так кричить-убивается? Спыймайте мне, слуги, белую вуточку! Хочу дознаться, об чем она плачить-горюить, зарю не зарюить!

Ладно. Ловють ее, ловють. Обловились, а спыймать не могуть. Оне – за ей, а она – порх да порх, порх да порх! Не дается…

Выбежал князь сам. Тут она ему на руки и упади. А как упала, он приказываить, дескать, становься, белая береза, позади, а ты, красная девица, упереди!

Тут и признал князь жану настояшшую, а не обманную.

Чичас узяли сороку, прицапили к ей два наперстка и пустили воды принесть: живой и мертвой. Принесла. Брызнули на деток живящею водицей – оне стрепенулись. Брызнули говорящею – оне заговорили. И стала у князя семья, как положено быть. Стали жить-поживать, а худое забывать…

Лес уснул. Няня рассказывает. Я засыпаю и мне чудится, что где-то за лесом едет поезд – добрый-добрый. В окнах за желтыми абажурами горят фонарики и движется он тихо-тихо, совсем бесшумно, чтобы никого не разбудить – так неслышно, как будто колеса его обернуты рыхлым мхом, как будто рельсы под ним укрыты сухой соломой…

«ПЬЯНИЦА»

Дело – к осени. Дача. Вечер. Сыро. За окном дождик – мелкий, противный. Спать рано, а заняться нечем.

Неприкаянность. Скука. Все как-то тускло, серо, сумрачно. Да и сумерки какие-то пустые, неодушевленные. Стемнеть стемнело, а зачем?

– Нянь, расскажи что-нибудь, – прошу я Акулину Филипповну.

– Эха-хо! Уж все переговорила, что знала.

– Сказку какую-нибудь…

– Сказки я забывать стала. Памяти нетути ничуть.

– Ну, придумай…

– Помилуй Бог! Ето тебе бы усе выдумлять да выдумлять, а мене не выдумляется боле.

Удостоверившись, что сказок от Филипповны я не услышу, прошу тихонько:

– Хоть лампу зажги. Темно ведь…

– Чего красин зря жечь, ланпу беспокоить? – отвечает няня по-хозяйски. – Усе рамно скоро спать укладаться. Вот кюхвирчику прихлебнем да и спатюшки.

Нет, это меня не устраивает. Вздыхаю:

– Рассказывать не хочешь, керосин жалеешь… – и няня входит в мое положение – грустное положение человека, как и она не умеющего ни читать, ни расписываться, но в отличие от нее тяготящегося вынужденным бездельем ненастного вечера.

– Давай я тебе у «пьяницу» играть вывчу, – предлагает Филипповна, доставая с полочки замусоленную, вытертую колоду карт без одной семерки.

Мы садимся к столу. В экономном полумраке няня перемешивает карты. Пальцы у нее крестьянские, сильные, но непослушные, лишенные той тонкой сноровки, что надобна для проворного тасования. Колода то встанет крест-накрест в широких няниных ладонях, то строптивая карточка неловко выпадет из общей кучи. Тасовальщица цепляет, цепляет ее с клеенки, а она не цепляется – прилипла.

– Да что ж ты, мать честнáя?! – стыдит няня ослушницу, протаскивая ее на край стола, чтобы легче ухватить.

Я оживляюсь:

– А как играть? Это трудная игра? И почему «пьяницей» называется? – спешу с вопросами, опережая ход событий.

– Чичас усе чисто узнаешь. Не тропись, быдто не поспеешь. – Няня вынимает из колоды четыре карты: две красные и две черные.

– Ето – буби и черви будуть, – показывает она на красные. – А ето, значить, хрести да вини – масти. Смекай…

В картинках я разбираюсь. Пожилых, бородатых королей не путаю с молодыми валетами. И считать до десяти тоже умею. Даже до ста. Жаль, что такие познания в арифметике, равно как и в мастях, для «пьяницы» совершенно излишни. Можно обойтись и без них.

Филипповна сдает карту за картой, – то мне, то себе; то мне, то себе, – всю колоду.

– Теперьча смотри. Я кладу. Десятка виней. Увидал? Ты клади. Шастерка.

– Бубновая, – выказываю я свое избыточное понимание предмета.

– Что ж с того, что бубновая? – отзывается моя наставница. – Новая бубновая… Се одно десятка старше. Хучь бубновая, хучь червовая, хучь какая… Я беру. – Няня с удовольствием утолщает свою стопочку. – И опять кладу. Ну, ты ходи, не сумлевайся. Куды, куды две карты положил, рикошетник? По одной ходють, не мухлюй! – она строго сдвигает брови.

– Я не мухлюю. Они сами слиплись.

– Сами-то сами, а ты на что тут сидишь? Гляди унюмательно. Вот, говорить, и вышла кралечка с крылечка, – сопровождает няня выход дамы. Я переворачиваю верхнюю карту из своей стопки, и меня пробирает колкий холодок удачи:

– Король!

– Бери ты, раз король. Твой ход.

Хожу и уже не чую дождя за стеной, забываю о времени и скуке. Возник интерес.

Новичку везет. Нянины полколоды медленно, но верно начинают перекочевывать ко мне.

– Глянь-кось, глянь-кось, и что деется?! У кого картинок девать некуды, а кто с одной швалью остался! – сокрушается Филипповна превратностям судьбы, но сокрушается не безутешно, а как-то полушутя. – Ишь ты, шшибленок! Вывчила на свою голову…

Между тем игра занимает и ее. Проигрывать ей, так же не хочется, как и мне, а потому она возвращается к моей давней просьбе:

– Правда, быдто темно сделалось. Карту не видать. Дай лампу зажгу, – связывает Филипповна свои неудачи с убылью света и, как опытный игрок, берет «тайм-аут». Коль скоро речь зашла об интересе, экономия на керосине кажется няне уже неуместной.

Человеку в возрасте бывает трудно присесть, а еще трудней – привстать: поясницу *прихватывает.* Держась за нее, Филипповна *колтыхает* в угол комнаты, снимает с гвоздика керосиновую лампу и водружает ее на стол.

Настают священнодействия с лампой. Сперва надо протереть мягкой тряпочкой *скло.* Оно потемнело от набежавшей копоти – *вычудилос.* Потом – подрезать лохмушки фитиля («И хде у нас ножни, а? Признавайся, куды дел?») Успеть зажечь фитиль толстой короткой спичкой, пока та не прогорела и не стала кусать огнем за пальцы («Врах ее возьми!..») Спичка чернеет и гаснет, поджигая кривую кромку фитиля – стол озаряется живым, подвижным пламенем, а темнота отступает в углы и там оседает, сгущаясь.

Няня осторожно вставляет круглое *скло* в бороздку подставки, словно приручая диковато блещущий и вольно, как факел, дышащий огонь. Теперь он не бросается по

сторонам, а длинно и покорно вытягивается над фитилем в узком горлышке чисто-начисто протертого стекла. Впрочем, Филипповна урезонивает и фитиль – загоняет его поглубже в керосиновую баночку. Пламя ослабевает, зато потемки отовсюду делают дружный шаг к столу, но ближе няня их не подпускает («Хватить… Слава Богу!» – возносит она хвалу Господу за то, что помог ей благополучно зажечь светильник, не оставив Своим попечением).

Вот сидит она в легком платочке, освещенная зыблющимся пламенем. Косой, ласковый свет, маслянисто лоснясь, ложится на ее подбородок, на широкую скулу; высвечивает дрожащий зрачок, всегда полный невыплаканной влагой слез; выхватывает краешек ситцевого в бледно-голубой горошек платка, завязанного под подбородком, как опущенные заячьи ушки. Няня постоянно ходит в платке, говорит, что с непокрытой головой – *не сурьезно.* Вообще ее деревенские, старинные понятия о приличиях сильно разнятся с нашими городскими. Она никогда шумно не смеется, а услышав по радио репризы комиков-конферансье, только улыбается:

– Ишь, как укуривають, анчутики…

Она ни с кем не вздорит. В ответ на дурное слово перекрестится втихомолку – и все. Вождей не обсуждает. Никакого отношения к ним ни дома, ни в очередях не выказывает. Лишь однажды наедине со мной молвит раздумчиво:

– Чтой-то Восипа Воссаривоныча усе мене поминають; усе боле Уладимира Ильича…

В ее представления о грехе входит много такого, что в моем окружении вовсе не считается грешным. Не очень строго, но посты она соблюдает, а мы – нет. Ни вина, ни водки не пьет: грех. Не поддается унынию, всегда в работе, а я вот от дождя и безделья запечалился и, если бы не игра, наверно, совсем бы раскис. И это при том, что мне, вспоминая свою жизнь, нужно было бы только радоваться, а ей, вспоминая свою, – рыдать. Однако именно няне зыбкий керосиновый свет придает бодрости, а следом к ней приходит и везение.

Филипповна перетаскивает у меня карту за картой. Полная стопка в моих руках пустеет, как у пьющего залпом. К счастью, – уже почти на донышке, – мне выпадает туз. Я предвкушаю успех. Хорошо бы отхватить короля или даму! Но у няни – тоже туз. Ничуть не хуже.

Кладем еще по карте на тузов. Я – девятку, и она – девятку. Что за напасть?

Еще по карте. Я – валета, а она – даму.

– Вот тебе и туз – наклал в картуз, – подытоживает Акулина Филипповна, забирая сразу шесть карт.

Но я не сдаюсь! Я заклинаю всех ведомых и неведомых мне духов удачи; всех тех, что устраивают верный выбор одного из двух. Я призываю духов «орла или решки», «чета или нечета», «курочки или петушка», «правой руки или левой», и даже самого страшного духа – «жизни или кошелька»! Наконец, я взываю к тому самому «пьянице», в которого мы играем, ведь это он волен подложить мне карту старше или младше няниной. И смилостивившаяся фортуна, скрепя сердце, раскручивает колесо удачи в мою сторону.

– Чтой-то у нас хвитиль опять плохо гореть стал; как-то тусьменно, – возвращается няня к известной причине своих осечек и подбавляет света.

Язычок фитиля с пламенем на кончике вытягивается вверх. Наверно, Филипповна думает, что дела ее пойдут на лад, как только керосиновая лампа покажет мне язык. Однако я беру взятку за взяткой и лишь тогда, когда фитилек вновь принимается подмигивать, теряю, спускаю с рук, отчаянно «пропиваю» ненароком нажитое!

От возбуждения картежница сдвигает платок на затылок. Кровь стучит у нее в висках, приливает к щекам. Это называется «*давление ажник под сто семьдесять выскочило*».

– У каком вухе стреляитъ? – спрашивает няня, жмурясь от азарта, и я решаю про себя: если угадаю, то выиграю!

– В левом! – Оно же ближе к стенке, а *стреляить* или *звонить,* как уверяют люди сведущие, обычно в том, которое ближе к стенке. Это многократно проверено на опыте.

– Нюжли ж?! – торжествует Филипповна, словно разгадав ход моих мыслей. – У правом, а не у левом! – и потирает правое ухо, опровергая наблюдения знатоков.

Она богатеет, а я уже почти ни с чем, стало быть «пьян», как она выражается, *у стельку*. Керосиновое *скло* накалилось – не притронуться. Я и сам горю изнутри не хуже этого *скла*.

– И хто ж, говорить, иво знаить, чиво он моргаить?.. – напевает няня, поощрительно поглядывая на фитиль.

Играть я впоследствии научусь, но карт так и не полюблю. Зачем заставлять других огорчаться, унижать поражением? А если не огорчишь ты, то огорчат тебя. На то и *противники*, чтобы досаждать друг другу, делать *против*, портить кровь. В этом – изнанка соперничества, и потому оно – нечисто. Однако наша игра – особенная. Она отличается от умной, то есть хитрой, коварной, расчетливой именно своей природной «глупостью», тем, что никакую выгоду соблюсти в ней нельзя. Счастливая незадачливость и оправдание

«пьяницы» в том, что по условиям игры ты лишен всякого маневра для козней, хитроумия и расчета. Ты полностью зависишь от расклада карт и никак на него не влияешь. Здесь работает не мысль, а жребий. Что будет, то и будет! – вот девиз «пьяницы». Это – праздник фаталиста, перст судьбы.

Постепенно догадываюсь, что в такой игре нет строгих «супротивников», а есть скорей «сотрапезники», теплые «собутыльнички», ласково потчующие друг дружку: тебе – карточку, мне – карточку; в твою стопочку, в мою стопочку… – и это переливание «стопки» в «стопку», вероятно, – лишь бесконечно растягиваемое удовольствие, за которым встает что-то совсем иное, нежели тонкий расчет порядочного игрока или коварство сообразительного мазурика, – нечто, доставляющее общую простосердечную радость.

Наши тени колеблются на стене: большая – Филипповны и маленькая – моя. Темнота за окном, потемки у стола словно приглядываются к тому, как в круге света ведут дружелюбную тяжбу два «горьких пьяницы»: один – лет пяти-шести, другая – лет шестидесяти пяти. Успех сопутствует то старому, то малому. То моя, то нянина стопочка, обмелев, снова потихоньку прибывает. Карты ходят по кругу как заколдованные. Игра наша неостановима, кажется, что она длится и поныне. Мы опьянены игрой – монотонной, нескончаемой, в которой совсем нечего делать уму, – за него все решает бестолковое везенье, но эти однообразные пассы, но это волхованье теней на стене и сейчас наполняют меня каким-то чудны́м и чу́дным, блаженно-восхитительным хмелем. Быть может, это – хмель памяти, сладковатый запашок подгулявшего керосинчика, бражный отблеск фитилька на стекле, вспышка льняной лохмушки: полыхнула, осветилась, брызнула, как умылась во тьме, и снова – ровное, уютное свеченье, какое бывает разве что в старости да в младости, когда страсти улеглись или еще по-настоящему не разгорелись. А, может быть, так являет себя затаенное чувство душевного родства, того взаимного обожания, что не высказывается, а молча передается, хотя бы вот с этой кочующей из рук в руки вытертой колодой карт.

МОЛОТОЧЕК

Если спрашивали, Филипповна никогда не говорила, сколько мне лет, но всегда – который год. Не пять, а шестой, не шесть, а седьмой. Мне это нравилось. Я взрослел в собственных глазах, потому что шестой звучало почти как шесть, седьмой – почти как

семь. Тем более что прибавка одного года начиналась сразу в день рождения. Пятого февраля мне только исполнялось шесть лет, а по-няниному уже шел седьмой. Сам я на вопрос о своем возрасте отвечал, как принято: пять так пять, шесть так шесть. В том отсчете времени, который вела Филипповна, чувствовался какой-то подвох. Как будто все было честно, а впечатление создавалось завышенное. Семь лет мне когда еще будет, а я уже целый год хожу в сиянии своего грядущего семилетия!

Но были в году два избранных дня, когда мне доставляло тайную радость переходить от своего исчисления времени к няниному. Четвертого февраля я знал твердо, что мне пока пять лет, а пятого наслаждался тем, что пошел седьмой. В этом мнимом перескоке через год, в исчезновении шестерки таился какой-то секрет, пускай лишь словесный, но все же секрет. Дело в том, что завысить мой возраст русский язык позволял, а вот занижать отказывался. Можно сказать: «Мне шесть лет» или: «Пошел седьмой…», а как выразить то же самое, употребив число пять? «Больше пяти»? Но сколько именно? «За пять»? Но так не говорят. «За» относится к десятилетиям: «За сорок, за пятьдесят…» А «пошел такой-то год» применимо в любом возрасте. Няня и про себя говорила: «Да уж шестьдесят седьмой, почитай, пошел…»

В тот год, когда няне «пошел шестьдесят седьмой», к нам на участок стал захаживать дедушка Филимонов – настоящий дедушка моего приятеля Женьки Филимонова (Молоточка). Женька мечтал стать классным вратарем и по вечерам просил его тренировать. На майку он надевал ватник, «чтобы рыпаться не больно», а я бил ему «пéндали» – пенальти, но не одиннадцатиметровые, а с семи шагов. Причем в их отмеривании Женька проявлял жуткую щепетильность. Вначале обсуждался вопрос, чей шаг принять за эталон: мой или его? Я считал, что мой, раз я бью, а он спорил, что его, раз он отбивает. Но дело было не в том. Просто Женька шагал пошире. Я уступал, небрежно обещая Молотку забить, хоть с центра поля. И тогда он начинал шагать, безбожно жухая. Во-первых, не с «ленточки», а потом шаг от шага все шире и шире. Такой переменчивый «эталон» меня не устраивал. Я бежал к воротам и, передразнивая Молоточка, ушагивал еще дальше, чем он, нарочито вытягивая шаги до полушпагата.

Тогда уступал пристыженный Молоток. Он великодушно предлагал мне отмерить дистанцию нормально. Но едва я ставил мяч в след от своего седьмого шага, как Женька кричал, что «с такого расстояния только дурак не забьет», что пусть я сам тогда в ворота встаю, и швырял ватник на траву. Я отодвигал мяч на шаг вглубь поля. Тренировка начиналась.

В моем арсенале были три удара: самый сильный – *пыром* (носком), самый точный – *щечкой* (щиколоткой), и самый хитрый – *шведкой* (внешней стороной стопы). Я старался их чередовать, а Молоточек, екая селезенкой, плюхался по углам ворот, – Женькина кличка и пошла от его спортивного рвения.

Одобрительное «Молодец!» быстро переиначилось в ударное «Молоток!» и прилипло к Женьке как второе имя. Однако и здесь последовало продолжение. Когда вратарь парировал удар, бьющий кричал: «Женька, молоток!» А если мяч влетал в ворота, звучало: «Молоточек, Женя… Кувалдой будешь!»

Всякий проходивший по еловой аллее и не видевший лужайки, еще издали, по слуху мог отличить, отбил мяч вратарь или пропустил. Пророчество о кувалде означало верный гол. Не раз потом я убеждался, что для русского человека всякая игра, не говоря уж о деле, представляет интерес не сама по себе, а в связи с теми отношениями, которые она способна вызвать к себе и вокруг себя. Антураж подчас перевешивает игру, а вопрос о победе, бывает, вообще не ставится. Возможность, использовав игру как повод, высказаться о жизни – вот что ценится, вот во имя чего и затевается игра. Женька Молоток в толстом ватнике с оборванными пуговицами, семимильной поступью отмеряющий семь шагов «пендаля» и вырастающий в Кувалду не когда он точно бросается под мяч, а когда промахивается мимо мяча, – помню тебя, вратарь моего подмосковного лета!

Где-то на боковой линии поля, там, где лужайка граничила с еловой аллеей, и познакомился, верно, дедушка Филимонов с Филипповной, когда она, не докричавшись меня из дома, вышла с тем, чтобы забрать ужинать, а он пришел за своим Молоточком.

Дедушка был почтительный, почтенный, высокий, с пушистой бородой, расчесанной на два длинных дымчатых треугольника. Он ходил в легком шелковом жилете с карманными часами и опирался на тонкую трость с резиновым наконечником, опирался более из уставного щегольства, нежели по суставной необходимости. Прошлым летом я часто просил у него полированную светло-кофейную тросточку поиграть. Я «стрелял» из нее по кустам, рисовал ею на песке, норовил сбивать яблоки с веток, а однажды решил испробовать на прочность. Третьего крепкого удара о ребро скамейки палочка не выдержала. Кривая трещина добежала до самой резиновой пяточки и клюнула в нее острым носиком. Няня принялась сокрушаться, а дедушка только улыбался, разглаживая бесподобные треугольники бороды то сверху, то с исподу, и просил Филипповну не расстраиваться по пустякам. Я не мог поверить, что дедушке ничуть не жаль своей трости, был удручен и не находил себе оправдания. Не было мне прощенья на

этом свете! И тогда произошло нечто особенное. Впервые изменив характер моего летоисчисления, няня сказала:

– Ить ему ишшо семи годочков нетути! – и я уловил, какая важная разница заключена в двух поименованиях одного и того же возраста: «седьмой пошел» или «семи нетути».

– Мне шесть лет, – подтвердил я тихо, словно испрашивая своим подтверждением прощения у дедушки.

– Он у нас ишшо несмысленый… – продолжала няня.

Старик Филимонов посмотрел не «несмысленого», как бы сравнивая развитие моего разума и мускулов, но результатами наблюдений делиться не стал. Со стороны старика это было проявлением деликатности, поскольку читать я еще не умел, зато бегать целыми днями с мячом не ленился.

Вечером Филимонов-внук изменил эталонную меру:

– Шагать – фигня получается, – заметил он, подразумевая под «фигней» не столько свой переменчивый шаг, сколько мои голы. – Будем лаптями мерить, как ворота.

«Один лапоть» считался у нас самой строгой мерой длины – пределом точности. Это был шаг длиной в ступню. Удлинять или укорачивать ступни, измеряя расстояния от штанги до штанги, Молоточек не умел. Поэтому теперь, когда он предложил отмерять лаптями «пендали», я согласился, и Женька пошел валко перебирать ногами от ворот в поле. Ставя пятку одной ноги к носку другой, он уверенно отодвинул штрафную отметку небывало далеко от ворот. Недаром на роль «лаптей» он пригласил разбитые дедушкины башмаки, в которых тонул, как клоун.

– Не жмут? – спросил я, давая Женьке понять, что его «эталоны» слишком разношены.

– Нормально, – ответил вратарь, запахивая ватник.

Тогда я разулся и отметил столько же ступней, сколько Женька, но своих и босиком. Это вызвало протест.

– Пендаль на вратарских лаптях! – огласил Молоточек правило, которое только что придумал.

– Ты что ФИФА́? – спросил я.

– Я не ФИ́ФА, – строго сменил ударение Филимонов-Младший, теперь уже давая понять мне, что у меня нелады с общефутбольной культурой. – Пендаль на вратарских лаптях – это закон! – процитировал он себя, и его утверждение, самовознесенное в ранг

цитаты, показалось ему уже абсолютно правомочным. – Первый гол не считается, – на всякий случай добавил законодатель. – Стукай!

Левой штангой ворот служила береза, правой – куст шиповника. Верхней штанги не было. Зная Женькину страсть к спорам, я рассчитывал только на березу. Ее ствол обозначен четко, не то что расплывчатый куст. Все удары по кусту, хоть с внешней стороны, хоть с внутренней, назывались у Молотка «штангой».

– И штанга вновь спасает ворота Евгения Филимонова! – восклицал он, даже если ближайшая к нему веточка дрожала от мяча, угодившего в нижний угол.

Молоток стоял, как лев. Время от времени, пропуская мяч, он издавал страшный рык, катаясь по траве, как лев ужаленный. Но при этом он оставался Молотком, и я предвещал ему дорасти до Кувалды.

– Женя – молоточек… Кувалдой будешь!

* * *

Два лета дедушка Филимонов ходил к нам в гости, после чего стало известно, что моя няня выходит за него замуж. В обеих семьях возникло смущенное замешательство, сменившееся настоящим переполохом, когда Филимонов-Старший объявил, что намерен справлять свадьбу «по всей форме». Будущее не обсуждалось, однако Филипповна заверила, что и не думает никуда от нас уезжать.

Во дворе филимоновской дачи расставили столы с угощениями. Народа собралось много. Это был четверг, середина дня, когда мои родители не приезжали. Я сидел между няней и Женькой, который усердно потчевался, не помышляя о том, как тяжко ему будет вечером рыпаться по углам.

– Молоток, объешься, из «шестерки» не вынешь, – нашептывал я ему, как брат брату.

– До вечера далеко, – отвечал Женька, с присвистом втягивая в недра скользкую малосольную молоку.

– Ну, я тебе сегодня наколочу, чует мое сердце…

Дедушка Филимонов был со мною ласков. Свадьба пила и шумела, как умеют пить и шуметь вырвавшиеся на дачный простор большие гулянья. Что же касается всего остального, что могло бы возбудить читательский интерес и по чьему-нибудь мнению стать «изюминкой» рассказа – ясной или двусмысленной, с пассажами в адрес «молодоженов», скромными умолчаниями или отступлениями в их былую жизнь, то, по счастью, ничего подобного я не знал, не понимал, а потому и не помню. Поворот судьбы в жизни двух пожилых людей так и остался для меня тайной, которую мне меньше всего

хотелось бы разгадывать. Дедушка Филимонов и няня понравились друг другу и решили пожениться. А о том, сколько им было лет, я даже и не думал.

Наверно, в движениях человеческой души есть черта, за которую не следует заходить – допытываться правды, доискиваться истины. Ведь кроме той правды, что открывает нам явь, есть еще правда тайны. Она и придает бездонность бытию, а без нее оно, быть может, давно иссушило бы нас на своих отмелях, обезвоженных буднями жизни.

Вечером после праздника мы вышли с Женькой на лужайку постучать по мячу. Молоточек так переел, что совершенно не мог рыпаться. Тоскливо стоял он в воротах, бросая взгляды то на шиповник, то на березу, словно заклиная свои штанги не подкачать.

В бору с паузами раз от раза куковала кукушка: «Пятый… Шестой… Седьмой…»

Были сумерки. По дачам зажигались огни. Няня звала меня домой. Я набежал на мяч и легонько пульнул его Женьке. Прямо в руки.

ЧАСТЬ III

КУРСОВОЙ ПЕРЕУЛОК

Маме

Была моя Москва невелика,
Всего б и счел прохожий удивленный
Четыре переулка, сквер зеленый,
А над зеленым сквером облака.
Ряд окон и пожухлая трава
Да тополей неровных колыханье –
Все пробегалось на одном дыханье:
Вдохнешь поглубже – вот и вся Москва.

Лишь только на краю ее крутом
Медь с медью затевала перезвоны,
Как на другом немедленно вороны
Взлетали в переулке Курсовом.
Границею Москвы была река,
И не могло сомненье зарониться:
Замоскворечье – это заграница,
Далекие чужие берега.

И что за дело, если все кругом
Давно уже Большой Москвой зовется?
Я крикну – и мой голос отзовется
В послевоенном городе моем.
Он для меня останется таким,
Каким он был в тот вечер отдаленный:
Четыре переулка, сквер зеленый
И облака, летящие над ним…

РЕЛЬСЫ СХОДЯТСЯ

1

У ребят я пользовался репутацией рассказчика, вернее, пересказчика, поскольку основу моих рассказов составляли переложения услышанного или прочитанного. Я был не автором, а исполнителем и потому считал за честь пересказывать как можно точней, как можно ближе к тексту, безусловно избегая пропусков или присочинений.

Эти пересказы были, между прочим, испытанием на честность перед самим собой. Ну, кто бы стал опрашивать людей, у которых я почерпнул темы, либо рыться в книжках, мною пересказанных: доискиваться, сличать? Никто. Хотя всякий раз я непременно указывал источник заимствования, а для слушателей, опоздавших к началу, повторял, откуда именно взял тот или иной сюжет. Так что в принципе проверить меня мог каждый, но по существу добросовестность свою я контролировал сам. Была даже какая-то тайная отрада оттого, что вот никто за мной не следит – сочиняй, что хочешь, выдумывай, фантазируй, а я не прельщаюсь и не прельщусь! Мое изложение сохраняло документальность не только тогда, когда я рассказывал о подлинном событии, но и когда речь шла о чьем-нибудь художественном вымысле. И к нему я подходил как к документу: раз кто-то сочинил, то нарушать авторские права собственными прибавлениями недопустимо. К счастью, такая строгость в исполнительстве никому не казалась излишним педантизмом, унылым занудством, а потому: «Все по правде!» – стало высшей наградой, которую я заслужил в своем дружеском кругу и дорожил ею, как орденом, тем более ценным, что носился он не на груди, а на сердце.

С малых лет радиоэфир заронил в меня ряд замечательных словечек. Особенно часто упоминались «пафос» и «героика». Говорилось, например, о пафосе и героике Гражданской войны. Эти слова обычно шли в паре и я воспринимал их как брата и сестру. Героика действовала, а пафос ее вдохновлял. Я чувствовал, что пафос без героики превращается в пустые разговоры, а героика без пафоса выдыхается и никого увлечь уже не может. Брат окрылял сестру, вместе они подхватывали меня, перенося через времена и пространства чудесной силой воображения, а я заинтересовывал ребят, заботясь, однако, о том, чтобы ничто не затмевало правды. Мои личные пафос и героика состояли в увлеченном, но точном пересказе.

Хочу испытать на себе подъемную силу, отрывающую меня от лужайки, на которой мы только что гоняли видавший виды мяч. Надо что-нибудь вспомнить. Скажем, какой-нибудь случай из истории Гражданской войны…

О, эти огромные красные тома в твердых переплетах! На любой из них няня по неграмотности могла бы поставить чайник с кипятком, если ручка жжется, а подставка куда-то запропастилась («Иде жалеска, мать честная? Куды становить?!»), но остерегалась, терпела жар, а на «Историю…» не ставила.

О, – говорю я, – эти массивные фолианты со страницами фотографий, рисунков, карт, карикатур, картин, вклеек, портретов, в том числе на желтой, как масло, рыхлой бумаге под полупрозрачным папиросным покрывальцем, которое следовало аккуратно приподнимать или, – еще тоньше, – осторожно сдувать с лица, как дамскую вуальку, пуская продольную папирусную волну, как будто бы там, под вуалью, таятся черты прекрасной незнакомки, и вот сейчас, сейчас они возникнут перед тобой! Вуаль откинута, и ты лицезреешь отожженный и закаленный в борьбе лоб вождя пролетарьята, – именно так: «тарьята!» – или туго сжатые железные челюсти несгибаемого полководца или, по крайней мере, серые фетровые шляпы вежливо бастующих английских докеров…

Вот – диво! Тома заполняли одни мужчины: в штатском и в военном, с оружием и без, на митингах и в пикетах, на тачанках и бронепоездах, на трибунах и в кавалерийской атаке. Тысячи, десятки тысяч мужчин. Казалось, женщины в России вымерли. Они не воевали, не митинговали, не бастовали. Их нигде не было. Куда они все подевались: мамы и бабушки, тети и няни? Где скрываются сестры? Куда попрятались невесты? Или варварский разгул войны вычеркнул их из жизни, сделал ненужными, обессмыслил природное право дарить жизнь, если ее немедленно забирала смерть?

Но – стоп! Это ты понимаешь теперь. А тогда, нечаянно обнаружив на одной фотографии женщину – медсестру с большим красным крестом на груди, ты смирился с ней только потому, что она тоже была частицей войны, что она возвращала мужчинам возможность сражаться. И они сражались: день за днем, глава за главой, месяц за месяцем, том за томом. О, ужас: они убивали друг друга, а тебе не было больно! Тебя тащил и тащил за собой проклятый пафос извержения, чудовищная героика кавалерийской лавы. И, обнажая лик очередного ратоборца, ты верил, что защитная папирусная дымка нужна для того, чтобы сберечь потомкам драгоценные черты командарма судьбы, а не какой-нибудь жалкой рабыни, расслабленно проплывающей с букетиком фиалок в лакированном

ландо[12]. И если командармы сеяли по страницам одну только смерть, то это не доходило до твоего сознания, потрясенного пафосом жертвенности, героикой возмездия.

Сначала я просто рассматривал картинки, полагая, что все понимаю, однако, научившись читать, оценил в полной мере глубину своего невежества. Объем исторических сведений меня подавил. Тщетно пытался я удержать в памяти номера воинских частей, направления ударов, перечни дат, число штыков и сабель, названия станиц и станций, за которые шли бои, фамилии красных командиров, имена белых генералов – напрасно! Нет, кое-что я, конечно, помнил, но это «кое-что» растворялось сущей каплей в море содеянного, а хотелось бы знать все до деталей, до мелочей! Но я убеждался, что это невозможно, и в своих пересказах старался придерживаться того, о чем судил наверняка. Да, пересказы от этого проигрывали и все-таки насыщать их домыслами я не мог, а давать необычные толкования известному был неспособен. О, горюшко… Меня выручал разве что азарт рассказчика. Так в борьбе между живостью воображения и строгостью ведомой мне правды года три длилась моя маленькая монополийка на историю Гражданской войны в СССР, пока однажды монополиста не потеснил друг-соперник.

2

Наш дом принадлежал двум хозяевам. Одной половиной владела Титиника, как я уже говорил, бабушка моего двоюродного брата Лени, а другой должны были командовать какие-то Колпаковы, которых никто никогда не видел. Что за Колпаковы? Кто такие?..

Потом стали просачиваться слухи, будто сам Колпаков – военный, у него большая семья: два сына и три дочери. Потом выяснилось, что он – не просто военный, каких много, а очень высокий по званию, каких наперечет: генерал-полковник. Сразу обнаружилась звучная компактность в соединении фамилии со званием: «*генерал-полковник Колпаков*».

Это хотелось повторять. Это само просилось на язык и раззадоривало слух. Не удивительно, что в июне генерал с семьей отдыхает в Сочи, но замечательно, что в июле он собирается приехать на дачу, на которой никогда раньше не был.

Мы прождали его весь июль и весь август, а он так и не появился. Что ж, планы командованья способны претерпевать… А наше дело – солдатское.

Следующим летом слухи о Колпаковых приобрели уже легендарный оттенок. Кто-то из ребят проведал, что Василий Григорьевич Колпаков не просто генерал-полковник,

---

[12] **Ландо** – здесь: легкий четырехместный экипаж.

каких мало, а герой Гражданской войны, что его кавалерийские рейды вошли в историю, что он награжден именной тачанкой, а отцовские чувства делит между пятью дочерьми и шестью сыновьями. Вот это семья: и отец – герой и мать – героиня! Говорили, что в июне они снова отдыхают в Сочи, но уж оттуда прямо к нам, то есть к себе в «Заветы Ильича».

Однако июль наступил, а никто не приезжал. Колпаковская часть дачи продолжала пустовать, беспризорно оседая и утягивая за собою нашу половину. Доски на открытой генеральской веранде еще пуще потемнели, покоробились, рассохлись, защелявили. Угловой кирпичный столбик фундамента рухнул и веранда как бы со вздохом припала на одно колено. Ребята продолжали собираться на ней, между прочим, для того, чтобы послушать мои правдивые истории. Я, и рассказывая, помнил о соседях, а тут как-то отвлекся и забыл.

Мы пошли с Климом на косогор посчитать вагоны проходивших поездов. Косогор вырастал неподалеку от платформы «Заветы Ильича» и тянулся в сторону Пушкина до железнодорожного переезда. В жару просмоленная лапша шпал начинала ощутимо пованивать варом, а рельсы, блестя на солнце, накалялись до рези в глазах. Мы сидели на поросшем пожухлой травой невысоком глиняном горбу, внизу под нами пришкварились к шпалам четыре ослепительных полоза, каждый из которых упирался одним концом в Москву, а другой остужал в тихоокеанском прибое. Чтобы увидеть Владивосток до начала августа, следовало покинуть столицу до середины июля. К таким размахам пространств мы привыкали с малолетства.

Клим сказал:

– Приперлись, дураки! Днем поезда редко ходят. Вспотеешь, пока дождешься…

Расписания электричек мы не знали. Расписание скорых узнать не догадывались. О движении товарных нам бы и так никто не сообщил. Передислокация боевой техники вообще «под грифом». Поэтому каждый раз поезд появлялся внезапно, и наша цель состояла в том, чтобы успеть пересчитать вагоны, сверить статистику и сделать «стратегические выводы». Цифры обычно совпадали с разбросом до одного-двух вагонов. Иногда Клим ошибался на десять вагонов, считая, например: «… 48, 49, 60, 61…» А вот выводы бывали разные.

Ждем…

В ушах знобко стрекочет насекомая мелочь. Жую сладкую ножку травинки. Черный, точно сам облитый варом, лениво планирует на шпалу и сливается с ней придорожный ворон. Наверно, старый. Наверно, мудрый: зря сил не тратит, ни на кого не каркает. А мог бы. Ему обедать пора, что же никто не едет, еду не везет, в окошки не кидает? И диспетчера не

клюнешь. Где он там? На Ярославском, небось, колбаску раскручивает, пивко из-под пены поцеживает, а тут с утра в клюве ни шкурки, в горле ни капельки!

Ждем…

Звякнул высоковольтный провод. Напрягся – ослабел. Ложная тревога: ветерок.

– Ну, пришли… – продолжает огорчаться Клим. – Делать нам нечего! Чем шпалы нюхать, лучше бы в шашки сыграли.

Тише-тише-тише…

Ворон присел на рельс и тут же метнулся вкось. Птица не обманет. Что ей чудится, то и сбудется.

Побежали мурашки по проводам, пощекотали воздух чуткие пальчики дальнего гула, и шибче-шибче-шибче-шибче стали разматывать незримые колеса плотные мотки стального стука, пока ошалелая от гонки электричка в темно-зеленых подтеках не вылетела как полоумная из-за поворота, промчалась мимо и, по-страшному шипя горелыми тормозами, смирила гремучую прыть у мертвой от зноя платформы.

– Му-ра! – отчетливо подытожил Клим. – Штука в час. С таким расписанием считать разучишься. Пошли, чего сидеть?

И мы побрели восвояси безо всяких «стратегических выводов», но едва спустились с бугра, как увидели то, о чем мечтали два года. В пустой электричке нагрянули Колпаковы! Всей семьей. В том, что это именно они, сомневаться не приходилось – стоило лишь взглянуть на пестро рассыпавшееся по дороге семейство.

Впереди, как ему и подобало, шагал герой Гражданской войны генерал-полковник Колпаков в военной форме со звездами на погонах – настоящими, рубчатыми, золотыми: на каждом плече по три звезды! А позади отца, гомоня и трепыхаясь, чапали его чада и домочадцы – толпа народа! Взрослые дети – загорелые дядьки и тетки с чемоданами и баулами, мальчишка моих лет и еще один, постарше, и еще один, помладше; и кипучая дама в южном с лохмушками чудаковатом чепце от солнца и в платье с пенящимся воротом – наверное, генеральша. Все тащили на себе кладь. В общем, это был командирский обоз на марше.

– Ребята, как пройти на улицу Декабристов? – по-армейски бодро обратился к нам генерал.

У Клима сперло дыхание, он даже губами не мог пошевелить. А я, окруженный в Москве военным обществом, сумел-таки выразить свою радость:

– Товарищ генерал-полковник, разрешите вас проводить?

– Провожайте! – согласился Колпаков, окинув меня цепкими глазами из-под козырька фуражки.

Захмелев от счастья, мы с Климом пошли впереди генеральской колонны, как проводники, сворачивая с одной дачной улицы на другую. Точнее, это были не улицы, а просеки с елями и соснами, кустами бузины, зарослями крапивы вдоль седых заборов, серых изгородей, плетней и «колючек». На одной ограде горбатился кот, другая зияла выломанной доской, третья шелушилась усохшими шершавинками краски…

Генерал спрашивал:

– Это какая улица?

– Маркса и Энгельса.

– А это?

– Сакко и Ванцетти.

– А та?

– Карла Либкнехта и Розы Люксембург!

А еще у нас вполне могли быть улицы Герцена и Плеханова, Советская и Горького, Урицкого и Воровского… По их именам любой прохожий при желании мог смело восстановить историю мирового и русского революционного движения. Названия были до того привычные, те же, что в любой деревне, в любом городе, что генерал, оказавшийся здесь впервые, уже чувствовал себя как дома.

По дороге нам попался приятель Борька. Увидев нас во главе шествия, он покачнулся, ухватившись за ближайшую штакетину, потом очухался и засеменил по обочине, спрашивая шепотом:

– Ребя, это они?.. Ну, вообще… Вы их встречали?..

– Ага, – ответствовал Клим. – Целый час ждали.

– А откуда узнали, что они с этой электричкой? А почему меня не взяли?

– А ты где был?

– Обедал.

– Ну, вот. А мы с утра ничего не ели!

– И я бы не ел, если б знал…

– Не мешайся!

– Я тоже хочу проводить.

– Будь замыкающим, – согласился Клим и Борька пристроился в хвосте колонны.

Но только мы поравнялись с его дачей, как оттуда, словно стаканчик на блюдечке, неустойчиво задребезжал старушечий голосок:

– Боренька… Иди домой, мальчик… Это что за новости?.. Пора кушать…

– А говорил, что ел! – сказал мне Клим.

– Это же Персона: она и забыть могла, что они уже обедали. Ей девяносто лет, – ответил я, оглянувшись на «Бореньку», густо покрасневшего и возненавидевшего в тот миг свою прабабку. А мы с Климом довели Колпаковых до их участка и, заслужив благодарность генерала, счастливые разбежались по домам.

3

Взмахнув на крыльцо, «Колпаковы приехали!» – крикнул я Филипповне и перелетел через порог.

– Не громонись, рикошетник! Теперича спокою не жди. Пришумели…

Но мне и не хотелось никакого «спокою», я жаждал шума, веселья, многолюдья, затей, и вот все это явилось!

Вечером мы с Климом и Борькой под видом сковыривания смолы с коры старой ели вели наблюдение за раскинувшимся перед нами бивуаком. Он живописно рябил разбросанными по лужайке вещами. Все окна и двери в колпаковской половине дома были распахнуты навстречу сквознякам, а возле накренившейся веранды сам генерал раздувал мятым сапогом самовар до тех пор, пока длинная нога дыма, словно облаченная в мутные обмотки, ни вылезла из трубы и ни потянулась в нашу сторону, выворачиваясь и клубясь.

А к нам подходила моя родная бабушка Валя, приезжавшая в «Заветы…» очень редко, но очень метко – в самый ответственный момент. Ее сопровождал мальчишка Колпаков, мой ровесник.

– Познакомьтесь, это – Гриша, – представила бабушка новичка, ускорив долгожданное знакомство. Кто знает, сколько бы мы еще ходили вокруг да около друг друга, присматриваясь да прищуриваясь…

– А тут есть, где рыбу ловить? – спросил Гриша.

– Где ловить – есть, рыбы – нет, – ответил я.

– Жалко. А я в Черном море на блесну ловил, – сказал Колпаков, и это произвело на нас неизгладимое впечатление. Во-первых, Черное море. Одно это… А потом – рыбалка и блесна, и улов, наверно…

– Вот таких таскал! – развел руки Гриша на ширину плеч.

– А какая там рыба водится? – спросил Клим.

– Дундучки, – пояснил Гриша. – Черноморские дундучки.

Мы переглянулись. Никто из нас о такой рыбе не слышал.

– А что это за рыба такая? – поинтересовался я.

– Нормальная рыба. Окуньки, хамса, дундучки, скумбрия…

Надо сказать, что Гришкины дундучки так естественно вписались в морской рыбный реестр, что я пожалел о своем сомнении. Мало ли на свете неизвестных мне рыб?

– А где они обитают эти… дундучки? – спросил Борька.

– Под Сочами.

– А на что клюют?

– На блесну, – повторил Гришка. – А еще на старые шнурки.

– Как это?

– Берешь шнурок, насаживаешь вместо червя. Он в воде извивается, как живой. Хап – и готово!

Убедившись, что знакомство состоялось, бабушка Валя пошла к нашей калитке, пригласив Гришу заходить в гости.

– А где вы жили на Черном море? – спросил я.

– А! В санатории Ворошилова, – отозвался Гришка небрежно, как о чем-то совсем обыкновенном, будничном. – Батька у Ворошилова кавбригадой командовал. Дома сабля у нас висит законная: «Василию Колпакову за доблесть и отвагу».

– А тачанка? – вылез Борька.

– Что – тачанка?

– Говорили, у твоего отца есть именная тачанка…

– Не знаю, – нахмурился Гришка. – При мне не было.

– А как твоих братьев зовут? – осведомился Клим.

– Всех?

– Ну, младших хотя бы…

– Мишка и Тишка.

– А они что делали? Тоже рыбу ловили?

– Нет, рыбаки у нас – я да батя. Мишка нырял до посинения, а Тишка камни искал драгоценные. Колхидоны.

– А где?

– На берегу. Их из Колхиды волной намывает. Вообще камней там – засыпаться можно: агаты, сердолики, колхидоны, яшма…

И, словно продолжая перечень, генерал позвал, распрямившись над самоваром:

– Мишка! Гришка! Тишка! Чай пить…

4

Если Колпаковы нагрянули, как снег на голову, – неурочно, посреди недели, то наша семья собиралась в расширенном составе обыкновенно по субботам.

С первой вечерней электричкой из своего Ботанического сада Тимирязевской академии в наш подмосковный сад приезжала мама. Мы с Филипповной встречали ее на станции, распределяя на шесть рук мамин груз – запас провизии.

Не успевали мы возвратиться домой и обменяться новостями: мама – московскими, мы – дачными, как появлялась хозяйка дачи Титиника, прерывавшая на время свою тассовскую стенографию (не уверен, так ли это было на самом деле, но спустя много лет сын Титиники рассказал мне, что она работала стенографисткой в Кремле на заседаниях политбюро узкого состава). В отличие от мамы Титиника везла продукты не в обеих руках, а лишь в одной, и не полную сумку, а что-нибудь вкусненькое в авоське: не столько поесть самой, сколько нас угостить. Особенно меня.

Наконец, ближе к ужину, закончив лекции в Военно-юридической академии и переоблачившись в штатское, подъезжал папа. Он вез не продукты, а свежую прессу, свернутую тугой трубочкой, наполненной уже не дачными или московскими, а всесоюзными и всемирными новостями.

Просмотр газет я начинал с самой интересной – «Советского спорта», продолжал самой разнообразной – «Известиями», а завершал самой авторитетной – «Правдой». Она давала четкие указания, как прожить сегодняшний день: чему радоваться, на что сетовать, за что бороться. Инструкции «Известий» были более расплывчатыми, оставлявшими право на некоторую конкуренцию интересов по собственному выбору, а «Советский спорт» просто тешил или огорчал.

Папа прочитывал газеты еще в электричке, однако, в обратном порядке. Он предпочитал не постепенно приближаться к авторитету «Правды», а как бы незаметно от него уходить. Вообще ему не нравилось, когда я в чем-либо брал с него пример. Он называл это обезьянничаньем и требовал от меня самостоятельности в суждениях и поступках. В конце концов, он ее добился. Будучи военным, отец болел за «Спартак», тогда как сын, будучи штатским – за ЦДСА[13]. Отец посвятил себя юриспруденции, сына законотворчество отвращало. Отцу нравилось играть в шахматы, сыну – в теннис. Отец обожал читать и не любил рассказывать. Сын же, и научившись читать, обожал рассказывать. В ту пору он переживал, как мы помним, эпоху пересказов. Устный период.

---

[13] **ЦДСА** – спортивный клуб «Центральный дом Советской Армии».

– Пап, Колпаковы приехали!

–Да ну?! – нарочито удивляется папа, подтрунивая надо мной.

– Ты знаешь, у них одиннадцать человек детей!

– А у нас один… Но зато какой!.. – продолжает отец в том же духе.

– Гришка рассказывал, что они в Сочи отдыхали. Он там рыбу ловил законную: дундучков.

– Кого-кого?..

– Черноморских дундучков.

Папа начинает негромко, но заразительно смеяться, слегка покачиваясь в плетеном кресле у соломенного столика, выставленного на воздух по случаю вечернего чая. Вслед за папой улыбается Титиника, оживляется бабушка Валя и даже *сурьезная* Филипповна не может сдержать улыбки, а мама спрашивает:

– Какие еще «дундучки»? Что ты выдумываешь?

– Я не выдумываю! Это Гришка рассказывал.

– Значит, *он* выдумывает.

Я озадачен: неужели сын героя Гражданской войны привирает? Заступаюсь за Гришку:

– Что – и хамсу он выдумал, и окуньков, и скумбрию, и колхидоны?

– А это что еще за гусь такой – колхидон? – интересуется папа.

– Это – не гусь, а драгоценный камень из Колхиды.

– А дундучки откуда? Из Дундучиды?

Гришкин авторитет шатается. В моем представлении папа, как ученый-энциклопедист знает все. А если он чего-то не знает, то этого и на свете нет. Никакой Дундучиды нет, конечно, но разве Колхида – выдумка?

– Еугений Лексеич, а иде ж ето такая Колхвида будить? – спрашивает няня, разливая чай.

– В Грузии, в Грузии будет. Так греки называли Западную Грузию. Там народ такой жил: колхи, от них и пошла Колхида. А камень, о котором твой Колпаков говорил, – обращается папа ко мне, – не колхидон, а, по-видимому, халцедон. Из кварцев. В зависимости от окраски он по-разному называется: агат, сердолик, яшма…

– Господи Сусе Христе!.. – вступает няня. – И чего тольки на белом свете не деется… Век, говорить, живи, век вучись… Ишь, Колхвида какая…

Мы пьем чай с кексом и с конфетами, чьи фантики украшает новое высотное здание на Котельнической набережной в шапках праздничного фейерверка. Конфеты шоколадные, а внутри – ликер. Раскусишь и как будто во рту салют!

Надо будет завтра порасспрашивать Гришку о Гражданской войне что-нибудь такое, что я точно знаю. Интересно, как он ответит?

5

Было завтра – стало сегодня. А сегодня – воскресенье. Кто на речку, кто в лес, у кого гости… Поговорить некогда. А с понедельника генерал взял младших сыновей в оборот: взрослые-то дети разъехались.

Тишка подтаскивает, Гришка подает, Мишка держит, генерал заколачивает. Террасу ремонтируют. Крышу чинят. Воду носят. Землю роют. Но надо Василию Григорьевичу и в Москву по делам наведаться. Мы все пошли его проводить.

Мишка просит отца привезти мяч, Гришка – удочки, Тишка – пистонный пистолет с запасными лентами.

Посадив Колпакова-старшего в электричку, поднимаемся на косогор. Хочется приобщить братьев к пересчету вагонов.

Не заставив себя ждать, ходко пылит к океану скорый поезд «Москва–Владивосток». Сверяем наши наблюдения. У всех одинаково. Даже у Клима столько же. На коротких дистанциях он не ошибается.

Потом задрожало в проводах, зазвенело в рельсах, пахнуло эхом дальнего гула и, набычась, с могучим упором два электровоза потащили мимо эшелон-тяжеловес, рекордно заваленный лесом по самую макушку – выше наращенных бортов.

Я насчитал сто семьдесят три вагона. Клим на десять больше. Мнение братьев разделилось. У Мишки было, как у меня. Тихон сказал, что за сто считать не умеет, а тут – за сто. А Гришка выдал промежуточное значение.

– Да ты вообще-то считал? – спросил у брата Михаил, – или в серединке пристроился?

– Пусть в следующий раз Гришка первым отвечает! – предложил старший брат.

Однако в следующий раз от Загорска проехала не подлежавшая пересчету дрезина, пронзительно нам гуднув.

Я вздрогнул, а Клим протянул:

– Что-то дрезины разъездились…

Это был знак – приглашение к «стратегическим выводам».

– Может, в Москву за шпалами? – предположил Борька.

– Или в Мытищи за квасом, – пошутил Миша.

– Проверяет состояние путей, – допустил я.

– А зачем?

– После тяжеловоза могло в слабом месте путь раздолбать, – поддержал меня Мишка. – Где один стахановец прошел, там сто человек потом чинят, – добавил он, давая всем нам повод задуматься.

Гришка сменил тему:

– А в Гражданскую войну дрезину перед бронепоездом пускали…

– Ну, и что? – спросил старший брат.

– Ну, и ничего. Если проехала, – нормально.

– Все равно контрольную платформу перед паровиком гнали. Батя рассказывал…

– У-у, тяжелый бронепоезд – это сила! – взвился Гришка и стал перечислять: – Две контрольных платформы спереди и сзади – для безопасности, чтобы не подорвался. Бронепаровоз с командирской рубкой. Вагоны…

– А сколько? – спросил я, помня из «Истории…», что штук двадцать, не больше.

– Сколько? – переспросил Гришка, как бы прикидывая степень моей осведомленности, и не удержался-таки, загнул:

– До тридцати вагонов!

– Не бреши! – урезонил его Михаил. – Столько ни один паровик не потянул бы. Там же брони тонны.

– А сколько, по-твоему?

– Вагонов пятнадцать.

– Спорим – тридцать? У бати специально спрошу!

– А вооружение?

– Четыре пушки стосемимиллиметровые, шестнадцать пулеметов типа «Максим». Боевая скорострельность – триста выстрелов в минуту; емкость магазина – до двухсот пятидесяти патронов; прицельная дальность стрельбы – две тысячи метров!

– Ну, сел на своего «конька»… Ладно, трави баланду, а я домой пойду, – сказал Миша, спускаясь с косогора.

Освободившись от братской опеки, Гришка и впрямь почувствовал себя «на коне».

– А перед боем, слыхали? – бронепоезд разворачивается тендером[14] к противнику и выпускает аэростат для корректировки огня.

– Откуда же аэростат? – усомнился Борька.

– У воздухоплавательного отряда. Он по штату полагается. А еще были бронелетучки такие: паровоз и вагончиков штук пять. На вооружении Красной армии состояло семьдесят бронепоездов, а у белых – восемьдесят. Им Антанта подкидывала.

– А бывали сражения между бронепоездами? – спросил Клим.

– Бывали, – уверенно ответил Гришка.

– Расскажи! – вырвалось у Клима. Борька тоже замер в ожидании. И Тихон прижух, будто слушал брата впервые.

Вот тут-то я и почувствовал, что лавры знатока истории Гражданской войны переходят от меня к Гришке Колпаку, и не потому, что у него батя – герой, а потому, что он сам знает все до мелочей, до деталей, хотя и привирает: знает то, о чем я не подозреваю; о чем, может быть, никто не подозревает!

– Давай, – попросил я, из пересказчика становясь внимательным слушателем. И Гришка начал:

– Дело было 27 июля 1919 года под станцией Сетевая. Мы идем вдоль железной дороги на рысях силами 16-ой Переславльской и 21-ой Пролетарской кавбригады особого назначения. Плюс сорок пулеметных тачанок с матросами Волжской флотилии. В центре – четыре полевых ударных бронепоезда и у каждого – по воздухоплавательному отряду. А белые движутся навстречу нам с юга. Пять бронепоездов, две бронелетучки, аэростаты, английские танки на платформах. Справа от путей сомкнутым строем – лейб-гвардии Успенский полк генерала Велертинского. В первой шеренге – двенадцать митрополитов. Хоругви, паникадила, кресты… А дальше – одни Георгиевские кавалеры. Тысяча двести пятьдесят Георгиевских кавалеров! Цвет русского офицерства! Слева – сводные казачьи эскадроны Пурятинского-Остроухова. Две, нет, – вру, – три тысячи сабель! В живой силе мы их превосходим, в технике – они нас.

К Сетевой подходим одновременно. Маневрируя на запасных путях, наши бронепоезда выстраиваются тендерами к бою. Поднимаем в небо отвязанные аэростаты. Даем первый залп, а беляки танки с платформ спускают – и в бой. Через пять минут – все в дыму. Кавалерия рубится по откосам. Бронепоезда окучивают из пулеметов. А митрополиты идут и

---

[14] **Тендер** – здесь: задняя часть паровоза.

идут, как заговоренные, будто пули их огибают. Тогда батя разворачивает коня и к командарму:

– Товарищ командарм! У меня в обозе бабка есть одна, Потылиха. И над огнем шаманит, и от дурного сглаза спасает, и порчу наводит, и разлучает, и привораживает… Разрешите применить в оперативных целях?

– Применяйте!

Батя к Потылихе:

– Выручай!

Та пробует корешки покусать белые. Не кусаются, жесткие попались… А как в стакан воды холодной плеснула, только глянула – вся вода сразу вскипела!

– Воинство, – говорит, – не берется. Зубов не хватаить. Но вертануть могу, и пущай так пройдеть. А машины я им погашу.

Забормотала-завозилась-заметалась… Смотрим: у белых бронепоездов изо всех щелей пар повалил клубами, и топки погасли… Бери голыми руками! Что им остается делать, золотопогонникам? Начали сдаваться. Пачками.

– А митрополиты? – напомнил Борька.

– А митрополиты и весь Успенский полк как по команде развернулись: «Кругом арш!» – и прошли мимо с развернутыми знаменами, под барабанный бой, как завороженные, строй за строем, плечом к плечу. Равнение – на степь, пока в дыму ни скрылись.

– Сила! – выдохнул Борька.

– Чудеса! – подхватил Клим. – Не может быть!

– А где об этом написано? – спросил я, не вполне уверенный в том, что точная ссылка последует незамедлительно.

– О таком не пишут, – заметил Гришка важно. – Это самому видеть надо. Или расспросить очевидцев. Только все равно никто не расскажет.

– А тебе отец рассказал?

– Дождешься от него… Он ничего про войну не рассказывает: ни про Гражданскую, ни про Отечественную.

– А откуда же ты знаешь?

Вместо ответа Гришка поднял кверху указующий перст, призывая всех нас прислушаться.

Снова провода зазвенели, прицокивая медным своим язычком, и, дремуче оглашая пространства, солидно и крупно тасуя маслянистые колеса, твердо отбивавшие стык за стыком, на нас поплыл эшелон с боевой техникой.

Зачехленные пушки на открытых платформах… Серые, приземистые танки… Гвардейские минометы… Гаубицы… Опять пушки, обращенные стволами назад… Каждую платформу охраняли часовые…

И вдруг Гришка сделал руками так, как будто поджигает бикфордов шнур, тянущийся под насыпь к мине, и на коротком взрывном: «Пых-х!..» – вскинул руки кверху, словно воздел кувшин. И что же? К нашему ужасу и восторгу эшелон как бы споткнулся и стал медленно тормозить, скрипя и лязгая, точно вот-вот готовый, грузно оседая, юзом сползти под откос.

– Братва, полундра… – прошептал Гришка, пораженный не меньше нашего, и мы посыпались с косогора.

6

Дома, отдышавшись и охладив пыл колодезной водой, я погрузился в «Историю Гражданской войны» Мне хотелось отыскать подтверждение или опровержение услышанному. Я нашел станицу Становую и станцию Узловую, но ни станицы, ни станции Сетевой не было. Зато все боевые характеристики пулемета «Максим» Гришка привел точно. Численность бронепоездов Красной и Белой армий тоже подтвердилась. Однако об их сражении у мифической станции Сетевая, естественно, ничего не сообщалось. Книжные данные хотелось дополнить живым разговорным словом.

Защищаясь от папиной иронии, я задал вопрос обиняком:

– Ты знаешь, кто такой Велертинский?

– Певец. Подражатель Вертинского.

– А Пурятинский-Остроухов?

– Не знаю. Это из какой оперы?

– Ну, может быть, донской атаман…

– Что-то я такого атамана не встречал. Откуда он взялся?

– Гриша рассказывал, – признался я.

–А, Гриша… – улыбнулся папа. – Тогда это, по-видимому, из той же оперы, что дундучки и колхидоны. Передавай Грише привет. Симпатичный парень.

Конечно, о Потылихе я не мог папе даже заикнуться. По поводу ее правдоподобности я решил разведать у Филипповны.

– Нянь, а у вас в деревне знахарки были?

– Одна-водинная.

– А что она делала?

– Траву сушила пользительную от болестей. Отвар варила приворотный…

– Для чего?

– Усе тебе знать антиресно. И хто, и что, и откуль… Ишь, как вуши навострил! Увырастешь – узнаешь.

– Мне сейчас надо.

– Чичас-чичас… Усе чисто тебе доложи!

–Пожалуйста…

– Ну, ежели та его, к примеру, любила…

– Какая?

– Увобче… А он ей, значить, поворот дал али ишшо какая пондравилась, то, дескать, отвару прихлебнешь, и твой опять к тебе прикачнется…

– Значит, она умела людей поворачивать?

– Навроди так. А там хто ее знаить…

– А огонь могла в печи погасить на расстоянии?

– Как ето?

– Подумает и погасит.

– Думой?

– Думой.

– Нет, еттова я не слыхала, врать не буду.

Спустя пару дней генерал вернулся из Москвы с подарками сыновьям. Мишке – мяч, Гришке – удочки, Тишке – пистолет и пистонные ленты – бумажные полосы, начиненные крупинками пороха. Пистолет довольно громко бабахал; при выстреле от него, как от черта, попахивало серой, а иногда успевал выплеснуться и лепесток пламени.

В тот же вечер Тишка предложил всем поиграть в войну, но давать пистолет другим отказался, а строчить из немых деревяшек, озвучивая их собственными голосами, нам не хотелось.

Гришка уговаривал пойти с ним порыбачить, а Мишка – постукать по воротам.

– Постукать еще успеется, а сейчас, на зорьке, самый жор! – мотивировал свое предложение Григорий, зашнуровывая старые кеды.

– Какой «жор», когда тебе сказали: рыбы нет? Не водится, – возражал старший брат.

– Я таких червей накопал – их дундучки из-под Сочей почуют!

Короче, Тишка остался стрелять, Мишка с Борькой и Климом – стукать, а мы отправились рыбачить. Я – в первый раз.

Наша речка Серебрянка каждое лето порядочно пересыхала. В некоторых местах ее можно было перепрыгнуть. Но выше мостков, где хозяйки полоскали белье, соорудили плотину из дерна. Там воды было побольше. Кроме того, плотина, по мнению Гришки, служила ловушкой для рыб:

– Деваться им некуда – только клевать!

Рыбак насадил извивавшихся тощих червей на крючки. Забросили. Посидели молча. Гришкину леску мотнуло. Он потянул удочку из воды. Червя не было, зато вместо него с крючка уныло свешивался, стекая, рыхлый пучок позеленевшей от тоски речной тины. Снова насадил. Забросил. Коротая вечернюю зорьку, черноморский рыбак стал вспоминать о любимом – о ловле дундучков в окрестностях Сочи. Я не отзывался.

Пока Григорий травил рыболовную баланду, банка из-под килек, в которой лежали черви, опустела. Она была, видно, плохо прикрыта коряво прорезанной жестяной крышкой и самоходная наживка расползлась.

– Не везет! – вздохнул рыбак, обнаружив пропажу. – Придется сматываться.

– А ты говорил, что умеешь на шнурки ловить, – вспомнил я, мельком обозрев Гришкины кеды.

Однако рыболов-спортсмен признать эту идею за свою отказался:

– Я бы еще попробовал кеды червями шнуровать, это – да, а на шнурки ловить и батя не может.

Вот в это я поверил охотно.

7

После того, как Гришка чуть не пустил под откос воинский эшелон, мы некоторое время боялись сунуть нос на станцию. Так и казалось, что там, в кустах, прячется охрана с поезда и ждет, когда мы явимся.

Тем не менее, железная дорога продолжала притягивать нас к себе своей подвижной, гулкой жизнью, неожиданностью и разнообразием происходившего, а еще какой-то загадочностью, скрытой в самом понятии пути, в угасавшем и вновь нараставшем шуме вагонного ветра…

Как-то Гришка утащил у малолетнего Тихона запасную пистонную ленту, а пистолета не нашел. По всей вероятности, Тихон Васильевич носил оружие при себе. Что делать с лентой без пистолета, грабитель Григорий не знал, но догадался, взяв два кирпичика. На одном он двигал ленту, как заправский телеграфист времен сражения у станции Сетевая, а другим куском пристукивал сверху по пороховым кучкам, впечатанным в бумагу. С каждым чоком кучки поштучно взрывались. Им было безразлично, что по ним стучит: оружейное железо или тупой кирпич.

Мишка, подкидывая мяч над головой, спросил:

– Ты чего делаешь?

– Меньшому телеграмму отбиваю, – пояснил изобретатель кирпично-порохового телеграфа и стал вслух диктовать себе текст, взрывая по пистону на каждом слове: «*Кругом! Одни! Белые! Тчк. В небе – облака! На земле – березы! В лесу – грибы! Под ногами – одуванчики! Тчк. Пистоны! Исходе! Добиваю! Последнюю! Ленту! Тчк. Жду! Подкрепления! Твой! Брат! Гришка!*»

– Вот тебе Тихон сейчас пришлет подкрепление! – пообещал Михаил, сбрасывая мяч с головы на ногу.

– Батя, Гришка мой боезапас кирпичами подзорвал! – закричал меньшой, колобком скатываясь с веранды и размахивая пустым пистолетом.

– Придумал! Придумал! Придумал! – прыгал на месте Гришка, раскручивая, как кнут, отстрелянную ленту.

– Ничего я не придумал! – возмутился Тихон.

– Не ты придумал, а я. Я придумал, что нам делать. Все сюда! Совершенно секретное совещание командующих фронтами и начальников штабов! Крупномасштабная операция «Рельсы сходятся». Клянитесь хранить тайну до могилы. Тишка, ешь землю!

– Не буду. Сам ешь.

– Докладываю оперативный план…

Мы придвинулись головами, как заговорщики, и Гришка поведал нам свой замысел.

Старший брат отказался участвовать сразу:

– Это – не крупная операция, а полный атас. Могут и по шее надавать, если поймают. И правильно сделают. Батька бы отстегал.

– Батька сам еще не то придумывал… А вы что, тоже трусите? – обратился Гришка к нам, и мы, конечно, не струсили, мы поддержали его и еще как горячо – от всей души!

Тогда Колпак-Средний, почувствовав себя главнокомандующим, смягчил высшую меру сохранения тайны («до могилы») на более щадящий срок: сорок лет, а Михаила попросил хотя бы последить за атасом (то есть подежурить на косогоре, чтобы никто не помешал).

Теперь оговоренный срок миновал, и операция «Рельсы сходятся» подлежит рассекречиванию. 27 июля 1957 года Борька подкрался к своей прабабушке по беспартийной кличке «Персона», сидевшей в глубоком соломенном кресле в тени раскидистого (на один бок) клена. Персона вязала новую, «заветоильичевскую» шаль, закутавшись в прежнюю – ветхозаветную. Два клубка отменно-пушистой шерсти тихо вздрагивали на ее коленях. Спицы в согнутых пальцах медленно вращались на одном месте, а движением губ вязальщица словно бы целовала каждую удачно сплетшуюся петельку.

– Ба-буш-ка… – позвал Борька необычно ласково.

Бабушка не отозвалась.

- Ко-пу-ша…

Нет ответа.

– Персончик, – повторил правнук погромче. – Сделай доброе дело. Ты клейстер варить умеешь? Свари чашечку… А?

– Зачем тебе? – спросила Персона, не оборачиваясь.

– Бумажку клеить…

– Опять что-нибудь рвать собрался?

– Да не рвать, а склеивать!

– Значит, уже порвал?.. Довяжу рядок, сварю.

Вооружившись чашкой густого, как студень, клейстера, двумя пистонными лентами, деревянными чурбаками-«автоматами», захватив длинный шматок бинта и дырявый противогаз, который Клим нашел весной на свалке, группа двинулась по направлению станции «Заветы Ильича», но, не доходя до нее, преодолела косогор и залегла в траншеях по обеим сторонам железнодорожного полотна. Пути были пустынны, лишь неподалеку похаживал сторожевой, просмоленный, как шпала, ворон, словно прислушиваясь то к близкой Москве, то к отдаленному Владивостоку. Но ниоткуда не раздавалось ни единого звука.

Гришка напялил противогаз и что-то скомандовал, однако проникнуть сквозь резиновую маску приказ отказался. Пришлось стянуть резину с подбородка, освободив рот для дальнейших команд.

– Тишка, клей свой рельс, а Клим – свой!

Бойцы дружно засунули пальцы в клейстер и принялись мазать отполированную колесами стальную поверхность. Выяснилось, что клей плохо ложится на сталь, зато отлично схватывает между собой шероховатые пальцы партизан. Разнимая их Тишке, Гришка влип сам. Руками в клею кое-как налепил на комки клейстера пистонную ленту поверх рельсы. Клим сделал то же самое на параллельном полозе.

Гришка махнул рукой: знак занять исходные позиции. Первым на знак среагировал ворон, подлетев чуть-чуть ближе к Владивостоку.

Тишка с Климом спрятались по ту сторону полотна в лопухах, мы – по эту, а наверху косогора сидел Михаил, следя за атасом, то есть за нами, поскольку весь атас исходил именно от нас.

Надежда «подорвать» бронепоезд оказалась липовой: хотя в природе бронепоезда еще водились, маневрировать под Москвой, им кажется, не доводилось. Не довелось и на сей раз.

По легкому, звонкому, шибкому стуку; по эху, опережавшему звук; по упругому натягу рельс, загудевших, как рояльные струны; по пружинистому, подобно клавишам, западанию шпал, когда в хроматическом раже проезжий виртуоз гонит и гонит вдоль октав свои разбушевавшиеся длани, – по всему на свете стало ясно: приближается экспресс.

И он налетел веселым вихрем: замелькали нарядные, как игрушки, вагончики, полоща в приоткрытых окнах шелковые занавески; споро топоча шустрыми колесиками; проблескивая на солнце иероглифами табличек, и в такт вагонной раскачке, в ритм беспечно-задорному выкаблучиванью сновало перед глазами по-китайски и по-русски одно и тоже, одно и то же:

«Москва–Пекин…», «Москва–Пекин…»,
«Москва–Пекин…», «Москва–Пекин…»

Почти неслышно в общем ликующем грохоте, почти мгновенно под натиском курьерских скоростей отхлопали прилепленные к рельсам сырые от клейстера пистонные ленты, жалко вытрухнув из-под колес на растревоженный гравий тусклые при солнце и тут же потухшие искры. А прекрасный поезд мчался уже далеко-далеко, вздымая за собой длинный шлейф подхваченного на рысях придорожного мусора…

Подрывники бешено строчили вслед ему из березовых чурбаков, метали шершавые гранаты сосновых шишек, с криком: «Ур-ра!..» скатывались с косогора, по грудь проваливались в траншею, карабкались на насыпь, бежали вдогон по шпалам до станции, а поезда и видно не было, а он – великолепный – подлетал к Александрову, нет, к Ярославлю,

нет, к Уралу, к Пекину, покачиваясь на рессорах легко и счастливо, пока мы костыляли за ним в буйном исступлении погони, плененные собственными химерами.

Ну, почему, почему страсть разрушать все и вся так жива в нас, сидит так глубоко и прочно, что раннего детства не хватает ей выплеснуться стертым в порошок песочным куличом, сломанной игрушкой, подбитым носом? Нет, она клокочет в отрочестве, сталкивает с пути в молодости, а то и не отпускает до седых волос, превращаясь в саморазрушенье – гнетущее, затяжное… Неужели рушить радостней, чем создавать? Неужели ставить ловушки, – сперва игрушечные, потом настоящие, – томиться в засадах, палить по вагонам – все, на что способна пробудившаяся фантазия? И отчего с таким упоением Гришка перечислял убойную силу пулемета «Максим»? Триста выстрелов в минуту – это же за каждую секунду укладывать пятерых… А если у пулемета – Гришка Колпак, а навстречу идем мы пятеро: Борька, я, братья, Клим? Секунда – и нас нет. И это лишь один допотопный пулеметик! Но мы же слушали Гришку, как опоенные, и втайне разделяли его восхищение разрушительной силой разума. Никто из нас не представлял себя мишенью – только пулеметчиком. Над нами властвовал не ужас повального сеянья смерти, а пафос его безбожного восторга, ядовитая героика мщения – то, что погубило Россию и, аукнувшись, пыталось выпотрошить нас, устремляя подложные чувства к превратным целям. Но мы-то считали их истинными… Представляю, как Гришка рассказывал бы нам обо всем этом, не будь мы участниками событий!

– В районе станции «Заветы Ильича» успешно осуществлена крупная диверсия под кодовым названием «Рельсы сходятся». Отряд Григория Колпака пустил под откос белый бронепоезд «Москва–Пекин». Удиравшие на восток отборные части колчаковцев попали в засаду, устроенную колпаковцами…

И кто бы из нас заметил тогда, что колчаковцы и колпаковцы отличаются друг от друга одной единственной буквой? Что противостояние «ч» и «п» приводит к такому чрезвычайному происшествию в мальчишечьей голове, как воображаемая Гражданская война? Что преодолеть эту чрезвычайность труднее, чем косогор, а поддаться ей легче, чем скатиться в траншею? Что это и есть невыдуманный сигнал национальной тревоги – самый настоящий атас?

Вдруг бежавший впереди Гришка обхватил руками виски, остановился, пошатнулся и, несколько раз перевернувшись, скатился в траншею.

– Командир убит! – закричал Клим.

– Убит… Убит… – повторилось в каждом из нас. Мы сгрудились над Гришкой.

– А, может, ранен? – предположил Борька. – Давайте, я ему голову перебинтую.

Мы приподняли Колпака. Глаза его были закрыты, лицо побледнело. Борька неумело забинтовал командира, но тот в чувство не приходил. Клим взял в руку Гришкино запястье, пульса не нашел и сказал мертвым голосом:

– Готов.

– Ну, что? Где хоронить будем? – деловито поинтересовался Мишка, без разрешения снявшийся с атаса. – Предлагаю тут, под насыпью. Сейчас камней на него навалим, а потом установим плиту: «*Здесь лежит партизан Гришка Колпак, не угнавшийся за скорым «Москва–Пекин*».

Гришка не шевелился.

– Ребята, – сказал Тихон, вставший посреди рельс, – я думал, братан загибает, а рельсы-то, правда, сходятся…

– Где они сходятся? – спросил Миша.

– Вон, смотри: за станцией.

– А как же поезд прошел?

– Не знаю…

– Подумай сам: рельсы сходятся, а поезд-то едет…

– Но они сходятся, я же вижу!

– Оптический обман.

– Ничего не обман! – очухался командир, открыв глаза. – Вдали путь становится однополозным.

– Ты имеешь в виду – одноколейным?

– Не одноколейным – однополозным.

– А как же поезд? – повторил Мишка.

– А поезд мчит, наклонившись набок, как горнолыжник на одной лыжине. Вот и все!

* * *

Теперь я думаю, что напрасно сомневался в Гришкиных рассказах, уличая его в привираниях, ведь он подходил к жизни, как к канве, по которой можно и до́лжно вышивать узоры собственного воображения. Не в этом ли проявляет себя искусство? Оно умирает, если иссякает пафос, а героика опускает крылья. Оно расцветает, когда бескорыстный вымысел румянит лицо правды. И пусть экспресс «Москва–Пекин» радостно тараторит, летит по залитому солнцем полозу, кренясь влево-влево-влево, но удерживает равновесие, бурно вращая в воздухе всем скопом правых колес!

КОГДА-ТО…

…Когда-то возле церкви Ильи Обыденного в здании, сохранившемся по сей день, располагалась 41-я школа с небольшим садом, как это водилось в Москве. Маленьких нас водили туда, смотреть листопад. Мы бегали под деревьями, собирали желтые и красные с обугленными краешками кленовые листья. Увяданье природы не печалило нас, потому что мы его не замечали. А сад после класса доставлял нам радость. Беготня, воля, факелы листвы над головой…

…Когда-то Вера Ивановна Державина – железная старуха прежней закалки, как клещами зажимала правилами грамматики все классы с пятого по седьмой, а на уроках литературы обращалась к нам:

– Что вы знаете, кроме 1-го Обыденского переулка? – И сама же отвечала: – 2-ой Обыденский!

А дома ее ждала больная внучка, которая числилась в нашем классе, но не была ни на одном уроке.

…Когда-то Мишка Беридзе, знаменитый на всю школу баловник и увалень, тяготившийся своей кличкой «Жиртрестпромсосиска» и отвечавший любому обидчику, даже самому тощему: «А ты – «Жиртрестпромсарделька»! – кричал мне с этажа на этаж, снизу вверх выглядывая в лестничный проем: «Алеш! Выходи на третьем уроке. Меня выгонят!»

…Когда-то Федор Иваныч Меркулов, учитель физкультуры, называл нам, в ногу маршировавшим по залу друг за другом, первую фамилию «двухфамильной» знаменитости, а мы должны были хором угадать вторую.

– Римский! – веселился Федор Иваныч.

– *Корсаков*! – дружно подхватывал маршировавший класс.

– Мамин!

– *Сибиряк*!

– Новиков!

– *Прибой*!

– Мельников!

– *Печерский*!

– Миклухо!

– *Маклай*!

– Минин!

– *И Пожарский*!.. – попадался кто-нибудь на удочку физкультурника.

…Когда-то учительница рисования Жанна Иванна, женщина с ангельским терпением, прежде чем поставить заслуженный кол, ставила карикатуристу два, потом два с минусом, потом два с двумя минусами, и только после этого единицу. А Нил Палыч Желнов, физик, поманив ученицу к доске, не спешил спрашивать по учебнику. Сперва интересовался у вызванной девочки:

– Ну, Любочка, как настроеньице?

– Не скажу…

– Не болит ли чего?

– Не скажу…

И уж тогда, между прочим, переходил к Ньютону или Ому.

Когда он влеплял «пару», глаза его сияли от удовольствия, лучились добротой. Ставя тройку, с улыбкой приговаривал:

– Ничего, золотце, не расстраивайся, тройка – тоже государственная оценка.

На четверке хмурился, а, рисуя пять, ворчал:

– Учишь вас, учишь, неучей… Все равно ни черта не знаете!

…Однажды наша классная Наталья Матвеевна Тарусина задумала приобщить нас к высокому искусству: в доме у одноклассницы мы слушали Первый концерт Чайковского. Нас, кое-как промаявшихся до конца, с последним аккордом как ветром сдуло. Гремя башмаками по старинной барской лестнице, мы помчались в соседний дом к добродушному озорнику Вовке Бауму. У него на рентгеновской пленке с изображением грудной клетки, которую он называл «женской», и мы охотно верили, была записана блатная песня о том, как некий кавалер польстился на прелести ночной красавицы, но она не оправдала его надежд. Утром красавица предстала кривой старухой. По рентгену было четко видно, насколько старуха костлява. Бедный Петр Ильич не выдержал конкуренции. Музыка на костях взяла верх.

…Когда-то Лариса, историчка, преподавала нам античность, и сама казалась греческой матроной: крупная, черноволосая, смуглая, со скульптурными формами. На коричневатой картинке в учебнике истории Древнего мира мы нашли похожую даму. Девочки обряжали ее в густые чернильные ожерелья, а мальчишки наградили пылкими гусарскими усами! Утром она приходила из дому томная, усталая, через силу поднимаясь по ступеням как-то боком. Опытный Валерка говорил, что это ее так муж любит.

…Некогда мальчик по прозвищу «Валёка», бледный и печальный, как романтический рыцарь, страдающий от невзгод послевоенного быта, приносил в школу литровую бутылку со щами и медленно выпивал ее на большой перемене из горлышка, встряхивая время от времени, чтобы вареная капуста не забивала узкий исток. А у школы Валеку поджидали мама и тетя, всегда державшиеся под ручку, как графини Вишенки, – одинаково худенькие, в одинаковых бордовых пальтецах и черных ботиках. Они боялись, как бы на мальчика не напало хулиганье. Подойдя к сыну и племяннику, они, как телохранительницы, с двух сторон брали его под руки – так он и шествовал между ними, тоскуя, но не смея возразить.

…Некогда дед моего приятеля – маленький горбун – читал нам на сквере «Над Тиссой» – шпионский детектив, по страничке печатавшийся «Пионерской правдой». На левом мизинце у горбуна был специально отрощенный ноготь – длинный, как у китайского мандарина. Этим ногтем он подчеркивал строку, на которой останавливался, когда приходила его жена – статная седая дама. Он не доставал ей до плеча и был похож на Риккэ-хохолка рядом с немолодой, но еще прекрасной принцессой. Они удалялись, унося с собой «Тиссу», недочитанные тайны которой меркли перед непостижимостью этой загадочной пары…

ЗНАМЯ, ГОРН, БАРАБАН

А еще в нашей школе классом старше учился парень с двумя прозвищами: «Филат» и «Цыган». Первое произошло от фамилии – «Филатов», а второе – от чернявости и характера: любил Филат проехаться за чужой счет, так и норовил что-нибудь у кого-нибудь да выцыганить, а то и отобрать силой! Учился он плохо, но был очень спортивным, жилистым мальчишкой – складным и ловким. Отловит Филат на перемене умного тюфяка Блюменфельда, затащит в угол, зажмет ему руку и давай выкручивать. Блюменфельд извивается, просит:

– Цыган, отпусти!.. Больно ведь… Честно говорю…

– Терпи, Блюма… Дашь русский списать, тогда отпущу.

– Дам.

– А математику?

Блюма соглашается, лишь бы руку выручить из филатовых клещей.

Остановит Цыган в коридоре отличника Валеку:

– Ну, ты, дурень, я слышал у тебя марочка завелась бразильская? Подари…

Филат «плавал» по всем предметам, и только на физкультуре чувствовал себя королем. Его цепкость, ловкость и сила пригождались ему и на брусьях, и на кольцах, и на канате, и в спортивных играх. Однажды его выгнали с математики и он пришел на физкультуру в наш класс. Как раз Волканя пытался что-то изобразить на перекладине, но для гимнастики был он слишком неприспособленным. Длинный, тощий, малосильный, барахтался Волканя в воздухе и никакой «подъем разгибом» у него не получался.

– Волконский, ты сегодня кашу ел? – спросил учитель физкультуры Федор Иваныч – боксер и гимнаст.

– Ел, – ответил Волканя, дергая ногами.

– Наверно, манную с изюмом – гурьевскую, – предположил Федор Иваныч. – Она силы не дает.

– Вот он и болтается, как сосиска, – определил Цыган.

– Ну, а ты, Филатов, кто?.. Покажи-ка класс, – обратился к нему физкультурник.

– Сейчас эта колбаса свалится и покажу.

Волканя покраснел то ли от напряжения, то ли от стыда и обиды и упал с перекладины.

Тогда Цыган разулся, небрежно подошел к снаряду, примерился, подпрыгнул, крепко ухватился, сделал несколько широких, красивых махов и – оп-ля! – оказался наверху. Даже никто заметить не успел, как он выполнил «подъем разгибом».

– Вот так это делается, князь! – пошутил Федор Иваныч, подмигнув Волкане.

В этот момент в спортзал вошла старшая пионервожатая Пеночкина, дружившая с Федор Иванычем. В руке у Пеночкиной были ключи от Пионерской комнаты. Там под ответственность вожатой хранились пионерские реликвии. Их было три: знамя, горн и барабан. На всех торжествах знаменосцем выступал Блюменфельд, барабанщиком – Волканя, а горниста не было. Кто бы ни пробовал дуть в горн, не мог издать ни звука. Даже смешно: стоит человек, тужится, раздувает щеки, аж весь напрягся, а звук-то – тю-тю… Где он? Кто-нибудь слышал? Вот накануне торжественной линейки Пеночкина и решила кинуть клич по всей дружине: кто еще не пробовал погорнить?

Первым отозвался Филат. Очень ему захотелось прославиться перед всеми, особенно перед Зинулей из 6-го «Б». Но Пеночкина усомнилась, можно ли доверить реликвию такой сомнительной личности? Есть ли у Цыгана музыкальные способности? Да и удастся ли ему вообще что-нибудь выдуть? А за советом она пошла, между прочим, не к учительнице пения «бабе Соне», разучивавшей с малышней революционные гимны, а к своему приятелю – физкультурнику. Федор Иваныч ее обнадежил:

– Филатов – силач! Ему хватит дыхалки прогорнить.

На перемене несколько охотников пошли в Пионерскую комнату. Все-таки Пеночкина первому дала попробовать Колобку, который, по слухам, хорошо играл на баяне и учился гораздо лучше, чем Филат. Но дыхания у Колобка оказалось маловато. Он дул-дул, а горн молчал.

Очередь дошла до Цыгана. Тот брезгливо обтер мундштук, обслюнявленный Колобком, и так дунул, что горн впервые в жизни прорезался грубым и хриплым гудком. То есть звука Цыган добился сразу. Оставалось добиться музыки.

– Ну, это я порепетирываю, – заверил он Пеночкину и уговорил, чтобы она отпросила его для репетиции с русского и математики. Где он репетировал неизвестно, только на уроках его не было целый день.

Наступил час торжественной линейки. В Актовом зале выстроилась вся пионерская дружина. На сцене – директор Юлия Константиновна, завуч Рина Ароновна, представитель РОНО.

– Дружина! К выносу знамени – смирно! – скомандовала Пеночкина. – Знамя – внести!

Из коридора послышался треск барабанной дроби. Это Волканя грянул палочками по надтреснутой коже красного барабана. Четкий ритм пробирал до косточек. Дробь сыпалась как по нотам. Ну и здорово же Волканя барабанил! Недаром он усиленно занимался на пианино, вот и барабан оказался ему по плечу.

Знамя торжественно вплыло в зал. Такое же красное, как барабан. Знамя нес Блюменфельд – лучший математик и знаток русской речи. Щеки его горели.

Рядом Волканя наяривал на барабане. А Филат как воды в рот набрал. Где же горн? Почему горнист не трубит? И тут Цыган вскинул медный, ослепительно блеснувший горн, приложил его к губам и дунул, что было сил. А сил было хоть отбавляй. Но вместо чистой мелодии, подобной той, что звучала по утрам по радио в «Пионерской зорьке», горн захрипел и потешно захрюкал, как поросенок.

И вот они идут, чеканя шаг: Блюменфельд – в центре со знаменем, а по бокам – Волканя-барабанщик и хрюкающий на каждом шагу Филат…

Так он и прославился на всю школу, прогорнив перед всеми. Но особенно перед Зинулей из 6-го «Б». Перед ней горн у Филата не просто хрюкнул, а с каким-то особенным взвизгом.

КАМЧАДАЛ

Юрика хлебом не корми, дай отвлечься и повеселиться.

Ему только пальчик покажешь, он уже хохочет. До того, как придти в наш класс, Юрик жил с родителями на Камчатке. Это так далеко от Москвы, что ему, наверно, было там очень скучно, вот он и истосковался по веселью. Правда, в классе его тоже посадили на «камчатку» – на заднюю парту: ближе свободных мест не оказалось. Но эту «камчатку» в Обыденском-то переулке Юрик принял за курорт, полный шуток и смеха. Жаль, что скоро впечатление о курорте ему стали подпорчивать учителя. Знания, которые Юрик вывез с настоящей Камчатки, на «камчатке» московской выглядели бледно. Но Юрик не унывал. На каждую двойку он отвечал улыбкой, а на каждую тройку взрывом радости. Блюменфельд так не тешился своими пятерками. А конец четверти был уже не за горами. Тогда Волканя, Колобок и я решили, что «камчадалу» надо помочь – заняться с ним репетиторством.

Между прочим, интересное слово – «*камчадал*». Так зовут жителя Камчатки. *Камчадал* (Юрик), *камчадалка* (его мама), *камчадалы* (они вместе). «*Камчад*» – корень, «*ал*» – суффикс. Но это знал я, живя в Москве, а Юрик, живя на Камчатке, ничего этого не знал. То есть он знал, что он – *камчадал*, но что «*камчад*» – корень, а «*ал*» – суффикс, даже не догадывался. Мы как раз по русскому проходили части слова, и вот я пришел к Юрику домой, чтобы ему помочь.

Юрик ужасно обрадовался и долго развлекал меня своими рыбками с пестрым опереньем, прозрачными плавниками и опахалами. Рыбки, переливаясь, лениво повиливая, без конца мотались навстречу друг другу в аквариуме.

Потом хозяин показывал мне виды: вид из комнаты на сквер, вид с кухни на помойку, вид из ванной на металлоремонтные мастерские.

Потом мы мыли руки, и мама Юрика – приветливая, дородная камчадалка поила нас чаем с печеньем курабье, таким маслянистым, что после него снова надо было руки мыть, а то на тетради могли отпечататься жирные пятна от пальцев, и тогда бы Юрик хохотал уже до самого вечера.

Наконец, мы сели за уроки, а мама за шитье. Она вышивала синего петуха на белом льняном полотенце.

Камчадал раскрыл учебник и прочел:

– «Состав слова и словообразование».

– Какая часть слова главная? – спросил я.

– Корешок! – ответил одноклассник, рассмеявшись своей шутке.

– Корешок в книжке бывает, а в слове – корень.

– А корень еще бывает в земле, – дополнил Юрик. – Я на Камчатке один корень нашел: квадратный. Честно…

– Не отвлекайся. Если можешь, разбери по составу слово «*Камчатка*».

– А чего его разбирать? И так все ясно. Камчатка – самый восток страны.

– Это географически. А грамматически?

– Мам, дай я тебе нитку в иголку вдену, – предложил Юрик и стал обмусоливать край синей ниточки, а то она у мамы разлохматилась и никак не пролезала в угольное ушко. Он так веселился, что все время промахивался.

– Юрик, опять ты время тянешь, – сказала мама и забрала у него иголку с ниткой.

– Ну, как на счет Камчатки? – напомнил я в качестве репетитора, недовольный своим занудством, но еще более тем, что время-то идет, а воз и ныне там. – Где тут корень? Где суффикс? Где окончание?

– Окончание «*а*»!

– Правильно. А дальше?

– Ты знаешь, какие на Камчатке фонтаны бьют? Прямо из-под земли. Гейзеры! Кипяток! Ошпариться можно. Я в них купался.

– Как же ты в кипятке купался?

– А он в воздухе остывает, пока падает. Взлетает кипяток, а падает уже нормальный…

– Снова отвлекся? – спросила мама, не отрываясь от шитья.

– Ох, мы уже столько занимаемся… Пора отдохнуть. Перемена! – объявил Юрик, подбегая к магнитофону. – Сейчас музыку послушаем. «Бесаме мучо»! Аргентинское танго.

Он включил магнитофон, и две круглые катушки стали медленно вращаться, словно танцуя под собственный аккомпанемент:

– Бесаме… Бесаме мучо…

– Мне скоро уходить, а мы еще не позанимались, – напомнил я.

– Давай под музыку. Может, так лучше пойдет?

И мы стали разбирать слово «Камчатка» под аргентинское танго. Но и под музыку словцо у Юрика разбираться не хотело. Он никак не мог решить, где кончается корень, а где начинается суффикс. И потому сменил тему:

– Слушай, а откуда произошло слово Камчатка? Что оно значит?

Я не знал. Я же тогда еще не читал словарь Даля, где черным по белому сказано: «Камчатка – льняная узорчатая ткань, идущая на скатерти, полотенца, постельное белье». Когда делалось что-то противоречивое, говорили: «*камчатная наволочка соломою набита*», то есть тонкое (камчатка) набито грубым (соломой). Но имело ли название ткани какое-то отношение к земле по имени «Камчатка»? Этого я не ведал, хоть и жил в Москве. Но мало жить в Москве, надо еще читать словарь Даля. А, может, Камчатка и не от материи. Откуда они взялись – географические названия? Надо спросить у Рины Ароновны – географички.

Я так и сказал:

– Не знаю. Спросим у Рины Ароновны. Но сейчас это неважно. Нас интересует не происхождение слова, а его состав.

Это показалось Юрику убедительным.

Крепко задумался старый камчадал. Работа мысли морщиной залегла на его лбу. Вдруг Юрик просветлел. Но не оттого, что нашел решение, нет! Совсем не от этого. Просто он увидел муху, пролетавшую над магнитофоном. Катушки втянули муху в свое вращение. Она забыла, куда и зачем летит, и стала мерно кружить над принимающей катушкой в том же самом темпе.

– Муха, муха!.. Гляди… Муха кружится!

Юрик смотрел как зачарованный. Все выскочило у него из головы: и состав слова, и гейзеры, и Камчатка… Рот его растянулся в улыбке, как у Буратино. А муха, перелетела с принимающей катушки на подающую и уже крутилась над ней до тех пор, пока, навертевшись до одурения, как-то боком не соскользнула с круга, зажужжала, петляя, и стукнулась тыковкой о дверку шкафа.

– Это у нее голова закружилась! – догадался камчадал и на радостях, сам стал кружиться по комнате, подобно мухе, пошел, петляя, и уткнулся в стенку, закричав:

– «Кэ» – суффикс, «кэ»!.. «Камчат» – корень: *Камчат*очка, *камчат*ский; «*а*» – окончание, а «кэ» – суффикс!

– Только не «кэ», а «ка», – поправила мама, воткнув иголочку в камчатку.

«МЫ ИДЕМ ПО УРУГВАЮ!..»

Я уже говорил, что в нашем классе некоторые ребята учились музыке. Волканя играл на пианино, Колобок – на баяне, я – на гитаре. И вот мне захотелось устроить

«джаз». Это, конечно, был «джаз» в кавычках. Всего три «джазмена»: Колобок – баян, я – гитара, Волканя – ударные. Он бы мог и на «фоно» сыграть еще как, но решил, что для нашего «джаза» ударные важней. Ни трубы, ни саксофона у нас не было. Правда, был в запасе пионерский горн, но, во-первых, из него, кроме Филата, никто не мог ничего выдуть, а Филат умел только хрюкать, а, во-вторых, горн служил символом пионерии, но совсем не джазовым инструментом. Пеночкина никогда не дала бы его в «джаз» и даже возмутилась бы самой мысли использовать реликвию как развлечение.

Поэтому перед новогодним вечером мы репетировали втроем. Собрались у меня дома после уроков, когда соседей не было. Колобок вынул из черного футляра огромный баян, я достал из чехла гитару, Волканя примостился у барабана и металлических тарелочек. А Юрик пришел полюбопытствовать и «поболеть»: он ни на чем не играл. Для исполнения выбрали две песни. Первую – лирическую: «Московские окна». Долго не могли начать, все перешучивались. Но как только Колобок развернул меха, и мелодия полилась, наполнив комнату до краев, все обомлели от красоты и силы звучания. Волканя опоздал вступить, а я вообще отложил гитару. Ее бы и слышно не было.

– Ну, Колобок, ты даешь! – сказал Юрик. – Просто гигант! Только играй потише. Ребят, я тоже хочу участвовать. На чем бы мне таком?..

И я придумал, чтобы Юрик стучал на ложках. Есть же целый ансамбль ложкарей. А тут один Юрик, но зато камчадал! И ноты не нужны. Всякие там сольфеджио. Бери ложки да стучи в ритм. За отсутствием деревянных, я достал из шкафа две мельхиоровые, и репетиция пошла полным ходом.

Я любуюсь вами по ночам,
Я желаю, окна, счастья вам.
Он мне дорог с ранних лет,
И его яснее нет,
Московских окон негасимый свет! –

пел я, аккомпанируя себе на гитаре. Волканя «подрабатывал» ритм, шурша метелочками по тарелочкам. Колобок выводил мелодию, а Юрик стучал на ложках, краснея от удовольствия. А еще его веселило, как бы Колобок не прищемил себе нос мехами. Глаза Колобка – два синих блюдца – сияли над самым баяном, а курносый нос почти касался верха мехов. Но Колобок был начеку и носа не вешал.

После «Московских окон» принялись за вторую песню. На свой страх и риск взяли не эстрадную, а «дворовую»: «Мы идем по Уругваю», исполнявшуюся в ритме «рок-н-ролла» – запрещенного американского танца. Юрик пришел в полный восторг от «рока» и

не столько стучал, сколько отплясывал, извиваясь между столом и шкафом. Он сказал, что это надо обязательно записать на магнитофон на следующей репетиции.

Но следующая репетиция не состоялась. Колобок был занят, а без него какая музыка? Зато неукоснительно состоялся урок географии, на котором завуч Рина Ароновна вызвала к доске камчадала, и тот поплыл между «широтой» и «долготой». Рина Ароновна была учительница строгая и не позволяла ни на что отвлекаться. Она чувствовала даже молчаливое отвлечение. Стоило мне задуматься, надо ли давать вступление к «Московским окнам», как Рина Ароновна немедленно вмешалась:

– Алеша, вернись в класс!

А уж Юрик, знаем, на все отвлекался. Он мог стоять у доски на уроке географии и чесать себе лопатку указкой, размышляя о том, поменять ли ему мельхиоровые ложки на деревянные или так оставить?

– Яснецкий, найди на карте Монтевидео, – требовала географичка, а он и не знал что это вообще за чудо-юдо: озеро? – вулкан? – горная гряда?.. Где его найдешь? Карта большая – на всю доску…

– «Мы идем по Уругваю!..»…, – тихо пропел с первой парты Колобок свою музыкальную подсказку, как бы совершенно бесцельно, для собственного удовольствия.

– Монтевидео?… Ну, это такое… в общем… с Уругваем связанное…

– Борисову в журнал точку. Еще одна подсказка и будет «два». А тебе, Яснецкий, надо бы поставить двойку сейчас, да Новый год не хочу портить.

– А в четверти? – упавшим голосом спросил камчадал.

– В четверти «три», но смотри у меня!..

– Ур-ра!.. – воскликнул Юрик, перекрывая долгожданный звонок.

* * *

В Актовом зале горела огромная – до потолка – елка. Ребят набилось – чуть не вся школа. В первом ряду – директор, Пеночкина, Рина Ароновна, наша классная Наталья Матвеевна, другие учителя.

Идет праздничный концерт.

Малыши танцуют полечку. Старшие читают стихи о Родине, о партии, басню Крылова. А в конце ведущая Зинуля из 6-го «Б» неожиданно для всех объявляет:

– Выступает джаз-оркестр!

Когда ребята увидели на сцене баян, гитару и тарелочки, они уже заерзали от предвкушения. До этого в школе, кроме горна и барабана, звучало только расстроенное

пианино, на котором «баба Соня» разучивала с малышней «Смело, товарищи, в ногу…» А тут гитара, тарелочки, «Московские окна»… Совсем другая музыка!

Все хлопают. Все возбуждены. Директор Юлия Константиновна улыбается, кивает Рине Ароновне: мол, вот как, молодцы ребята, ценная инициатива, настоящая художественная самодеятельность! И всегда строгая Рина Ароновна снисходительно щурится в ответ.

А когда «джаз» грянул «Мы идем по Уругваю», все повскакивали с мест, завопили от радости так, что слова потонули в шуме – и какие слова!..

Мы идем по Уругваю!..
Ночь хоть выколи глаза.
Слышны крики попугаев,
Обезьяньи голоса!

Тут Юрик прикрыл рот ладошкой и, вибрируя, пронзительно завизжал, как макака в джунглях Южной Америки! А Волканя разразился барабанной дробью, подкинул палочки и, как жонглер, поймал их налету!

Если вкалывать, как негры,
От зари и до зари,
Мы Америку догоним
Года за два или три!

Такого школа не видела и не слышала отродясь!

«По Уругваю» прошлись трижды: на бис. Но мельхиоровые ложки в руках у Юрика замерли, а руки опустились, лишь только он встретился глазами с Риной Ароновной. Та сидела неподвижно. Взгляд ее был шершавым, твердым и серым, как гранит парапета на набережной Москвы-реки. И вот что прочел Юрик в этом взгляде: «Твой отец – патриот и труженик работал на Камчатке. В тяжелых условиях. Недоедал, недосыпал. А ты, троечник, живешь в центре Москвы на всем готовом. И чем же занят ты, не отличающий «широт» от «долгот»; гадающий, что такое «Монтевидео» и с чем его едят? Ты выстукиваешь какой-то дикий танец на двух мельхиоровых ложках, которые Смирнов достал тебе из кухонного шкафа, потому что никаким музыкальным инструментом ты не владеешь! Ну, ладно Борисов… Он хоть на баяне играет и учится не в пример тебе. Волконский у нас вообще талант по всем предметам. (Кроме физкультуры). Он и в «джазе» *ударник*. А ты? На чем играешь ты – ложкарь-одиночка? Кому нужны твои ложки – этот жалкий довесок к тарелочкам и барабану? А главное – репертуар!.. Какую музыку вы пропагандируете со школьной сцены? На чью мельницу льете воду?.. Позор! Я

этого так не оставлю. После каникул соберем классное собрание, пригласим Юлию Константиновну, пригласим пионерское руководство и прикроем вашу лавочку».

ПЕРЕД ЛИЦОМ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ

Вскоре после зимних каникул наша классная руководительница Наталья Матвеевна предупредила, что у нас будет собрание с участием директора, завуча и старшей пионервожатой.

Директор школы Юлия Константиновна – бывшая фронтовичка, пулеметчица – с виду была боевой и грозной. Каждое утро в 8:00 она вставала в школьных дверях, лично приветствуя всех входящих. До 8:15 она приветливо улыбалась, особенно малышам. После 8:15 просто стояла, как обыкновенная женщина. Но ближе к 8:30 (начало уроков) лицо ее принимало строгое выражение, а с 8:30 – грозное. Опоздавшие попадали к ней прямо в руки. Но слишком долго стоять в дверях Юлия Константиновна не хотела, и в 8:45 покидала свой пост. Вот тогда-то, минуя директора, в школу и просачивались самые злостные «опоздальщики». Такие как Юрик. Собрание же было после уроков, и на нем присутствовали все. Позвали даже Блюменфельда, хоть он и был классом старше. Наверно, как члена Совета дружины и знаменосца, чей слух был взлелеян светлыми мелодиями горна слева и оттренирован сухой дробью барабана справа.

Сначала Наталья Матвеевна сказала, что коллектив у нас, в целом, хороший. Есть инициативные ребята. Но они, к сожалению, иногда страдают провалами вкуса. Так она выразилась: «*провалами вкуса*». А над ошибками надо работать. И все поняли, кого она имеет в виду, кого она вроде бы и поругала, но поругала мягко, по-дружески.

Потом выступила старшая пионервожатая Пеночкина – очень красивая молодая женщина в пышной белой кофточке с большим пионерским галстуком на груди. Пеночкина просто кипела негодованием. Она назвала наше новогоднее выступление самовольным, безответственным, насаждающим дурной вкус. Она ополчилась не только на наш «джаз», а на джаз вообще как на вопиющее неприличие.

– Что вы играете? – горячилась она, почему-то глядя на Блюменфельда, видимо, ища поддержки у него – знатока и ценителя пионерской музыки. Но Блюменфельд поддержки ей не оказал. Школьный «джаз» ему понравился, особенно джунгли Уругвая, а на вопрос: «Что вы играете?» – он всегда мог бы ответить: «Я лично ничего не играю. Я знамя выношу».

– Нет, пусть каждый выразит свое отношение к случившемуся! – настаивала Пеночкина. – А виновные пусть дадут ответ перед лицом своих товарищей.

И тогда в классе наступила вязкая тишина. Каждый боялся за себя, за то, что спросят именно его, а что ему ответить? На концерте он радовался, хлопал, свистел, кричал вместе со всеми: «Бис!» – а сейчас должен осуждать то, что приветствовал?..

– Ну, что же вы молчите? Где ваше гражданское мужество? – спрашивала Пеночкина, косясь теперь на Рину Ароновну, хотя говорить призывала вовсе не ее, а ребят. Рина Ароновна одобрительно кивала. Ей нравилось, как принципиально повела собрание старшая пионервожатая, отставив в сторону классную руководительницу – слишком мягкотелую, занимавшуюся явным попустительством.

Но Наталья Матвеевна не дала так просто себя отодвинуть. Видимо, ее представление о гражданском мужестве не совпадало с мнением пионервожатой. Разве гражданское мужество – это ругать то, что тебе нравится? Это не мужество, а малодушие. Не мужество, а лицемерие. Но спорить с Пеночкиной в присутствии класса Наталья Матвеевна не могла. Поэтому она сказала:

– Пока ребята думают, может быть, Юлия Константиновна хочет что-то сказать?

– Хочу! – ответила директор. Она встала, сделав такое решительный жест, каким революционные ораторы обычно сопровождали конец выступления, и обратилась ко всем с речью в защиту классического искусства:

– Вы живете в самом центре Москвы, все к вашим услугам: театры, концертные залы, музеи, лучшие образцы ваяния, живописи, зодчества, на которых воспитывается художественный вкус. Люди, чтобы посетить Третьяковскую галерею, из Владивостока летят, с Камчатки – через всю страну. А вам Каменный мост перейти лень. Скажите, сколько раз вы были в Третьяковской галерее? Один? Два?.. А когда в последний раз? В первом классе?.. Я знаю, что у вас есть музыкально одаренные ребята. Но ведь надо же расширять кругозор. Яснецкий, сколько раз ты был в Третьяковке?

– Не помню, – соврал Юрик, хотя на самом деле хорошо помнил, что ни разу.

– Ну, ладно, Яснецкий. Он у нас новенький, – уступила Юлия Константиновна. – Ну, а вы – коренные москвичи? Валерий! Ты бывал в Третьяковской галерее?

Валерка, раскачиваясь, как медвежонок, потянулся с парты вверх, на ходу запихивая гимнастерку под ремень, и расплылся в смущенной улыбке:

– Не доводилось…

– А тебе, Борисов, «доводилось»? Сколько раз ты посетил лучшую галерею Советского Союза?

– Раза два, – уклонился от точного ответа Колобок, боясь обсчитаться.

– Два раза за всю жизнь?.. Позор! – досталось на орехи Колобку, хотя по сравнению с Валеркиным «нулем» его «раза два» было бесконечно много. – Для вас крупнейшие искусствоведы устраивают бесплатные лектории, хотят приобщить вас к мировым шедеврам, детально обсуждают каждое полотно, а вы и ухом не ведете!.. Юра, дай слово, что в ближайшие дни со всем «джазом» ты посетишь Третьяковскую галерею и расскажешь мне о своих впечатлениях.

– Хорошо, – согласился камчадал.

А Наталья Матвеевна радовалась тому, что с разговора о «гражданском мужестве» Юлия Константиновна перевела речь на художественное воспитание. Получалось, что во исправление своих ошибок Юрик и все мы обязались посетить музей. *Это* стало «наказанием», а совсем не то, к чему клонила Пеночкина. Та требовала осуждения. Поведя собрание, как прокурор, она вызвала в каждом чувство страха. А выступление директора страх развеяло. Конечно, вкус надо развивать, кругозор расширять. Кто спорит? Музыка музыкой, но и живопись – тоже хорошее дело.

– Ну, влипли… – вздохнул Волканя после собрания.

– Почему? – не понял Юрик.

– Ты бывал в Третьяковке? Там же пятьдесят два зала!!!

САМОСВАЛ

Вечером мы играли с Колобком в снежки на сквере между нашими домами. Меня отпустили погулять на часок перед сном. Дело пахло весной, сильно подтаяло, снег был плотным и слипался в руках в тяжелые комки. Темный сквер выходил одной стороной на тускло освещенный Соймоновский проезд, по которому проезжало в те годы полтора колеса в час.

Мы веселились, ничего такого не предчувствуя, когда к нам выбежал Валерка. Недавно он прославился на всю школу, побив подряд два рекорда. Вначале на спор за один присест смял в буфете семь жареных пончиков с повидлом. Рекорд (шесть) держался уже полгода и принадлежал Блюму. Поедая второй пончик, Валерка лоснился от удовольствия, но последний – седьмой – подгоревший с боку, в него никак не лез. Он буквально запихивал, вталкивал в себя жирный пирожок, обжигавший язык горячим

повидлом. Ребята кричали: «Давай, давай, давай!» А когда проглотил и стал икать на весь буфет, Блюма – уже не главный по пончикам – любезно предложил, как бы приобняв рукою витрину:

– Валерик, вам «язычок» купить?.. А «марципанчик»?

Обсыпанные сахарной пудрой слоеные «язычки» котировались у нас выше пончиков, но ниже марципановых булочек. Однако этот иронический жест вовсе не означал, что экс-рекордсмен признал свое поражение. Наоборот. Блюма выразил сомнение в справедливости рекорда, ведь *его* пончики были вчерашние, то есть черствые, а *Валеркины* сегодняшние, то есть свежие. А шесть черствых пончиков больше, чем семь свежих. Все согласились, что черствое съесть трудней, но рекорд не отменили, поскольку в «правилах» не значилось, какие должны быть пончики: черствые или свежие.

А на следующей неделе Валерка уже в ранге рекордсмена пришел в школу со швейцарскими часами. Ни у кого из нас часов тогда не было. Даже слухи о Петродворцовом или Московском часовых заводах до нас не доходили. А тут сразу – швейцарская работа! Мы знали, что Валеркина мать развелась с отцом, вышла замуж за генерала и уехала в Германию, где тот служил. Валерка жил с теткой – маминой сестрой. На день рождения мать прислала сыну в подарок часы. И вот он, лучась всеми своими веснушками, закатывает рукав школьной гимнастерки и крутит запястьем, показывая обновку. Часы кажутся нам такими шикарными, с тремя стрелками – часовой, минутной, секундной, – что никому даже в голову не приходит попросить дать их померить. Эх, знала бы генеральша, на что употребит сынуля ее подарок!..

Посрамив Блюму в поедании пончиков, Валерка покусился на рекорд Филата по задержке дыхания. Количественный результат я не помню, поэтому ограничусь качественным.

Маленькие переменки для такого большого дела не годились. А вдруг Валерка задержит дыхалку на полчаса?.. Все ждали большой перемены. Опасались, что Филат станет мешать, а связываться с ним никому не хотелось. Правда, Волканя, оскорбленный Цыганом на перекладине, пообещал, что, если что, он его нейтрализует, но сам засмеялся своей шутке.

Мог помешать и кто-нибудь из учителей, но, как говаривалось в нашем кругу, кто не рискует, тот не пьет шампанского!

Прозвенел звонок на большую перемену. Мы собрались в Актовом зале возле пианино, на котором лежали растрепанные ноты «Варшавянки». Это «баба Соня» разучивала ее на предыдущем уроке пения, а забрать забыла.

Половина перемены ушла на подготовку к рекорду. Валерка расслаблял ремень, снова затягивал, потом вообще снял. Подумал и стянул через голову гимнастерку, оставшись в «тельняшке». Девчонки ахнули и захихикали в кулачки. Заводил часы. Все понимали, что сейчас самая важная стрелка – секундная. Вообще-то речь может пойти и о долях секунды, но их нам не уловить… Наконец, охотник дождался, пока секундный кончик наехал на число «12» вверху циферблата и стартовал.

Все затихли.

Поначалу стрелка скакала по рискам куда как шустро. Валерка улыбался одними глазами, не раскрывая рта. Но чем дальше, тем движение на циферблате становилось все медленнее, а шея испытателя все краснее от приливающей крови.

Тут к нам вразвалочку подошел Филат и, равняясь на себя, мошенника, уличил:

– Он носом дышит! Заткни нос, моряк с печки бряк!.. – и уже хотел ухватить Валерку за нос, но тот его опередил и, хоть никаким носом не дышал, но прихватил себя двумя пальцами, как прищепкой для белья.

Филат балаганил, мешая устанавливать рекорд, однако на всякий случай прикидывал, что делать, если Валерка его «перенедышит». А у того кожа на загривке стала уже синеть и отдавать фиолетовым в бритый затылок, наливающийся, как чернильница.

– Лопнешь! – предупредил Филат.

Но Валерка выпученными глазами смотрел на часы, и как только стрелка перепрыгнула рекордную отметку, выдохнул… Рекорд пал.

– Ни фига подобного! – заявил Филат. – Давай снова вместе.

Но это предложение было встречено дружным смехом, заглушенным трелью звонка. Перемена кончилась.

– Ребят, я с вами! – крикнул Валерка, промахнувшись снежком по Колобку.

Мы принялись кидаться втроем, а время от времени Валерка пулял через Соймоновский проезд в дощатый забор автобазы. Тут, как на грех, и выкатился с Волхонки порожняком кургузый самосвал, заляпанный цементом. Валеркин снежок угодил ему точно в боковое стекло. Брызнуло ли оно в кабину на шофера или резко помутнело, покрывшись паутиною трещин, мы не увидели. Но явственно услышали визг тормозов. Самосвал дернулся и застыл в двух шагах от дома Перцова. Здоровый малый выскочил из кабины и в хорошем темпе погнал в нашу сторону.

– Бежим! – крикнул Валерка и первым во всю прыть рванул мимо нас вдоль теннисных кортов по направлению к баракам.

Мы с Колобком покатились следом.

И вот картина: темнота; виновник торжества меткости лупит, как заяц, петляя по снегу; две ни в чем не повинных жертвы обстоятельств чешут в одной связке с ним, как прямые подельники, а за ними гонится тень сильно огорченного шофера, мстящего за пострадавший самосвал.

Валерка с ходу влетел в проем между железными гаражами. Я потом нарочно проверил. Проем был узок даже для Колобка, но со страху моряк, откормленный пончиками на камбузе, пролетел его со свистом, скатился в овражек и забился под крыльцо ближайшего барака, пока мы упускали время, огибая гаражи. Когда же подоспели, дырка под крыльцом была заткнута круглой попкой дважды рекордсмена, и места спасения для опоздавших там уже не было, а искать другое никому не позволил догоняющий.

Не на наших глазах, а с нами самими свершался самосуд.

Работяга схватил нас, как котят, за шкирки, стал трясти и требовать, чтобы мы выдали виновника:

– Где третий? Я спрашиваю: где третий?!

Казалось, что он точно знал, кто выбил бубну самосвалу; знал, что это не мы, а «третий». Наша же вина состояла в том, что мы покрывали виноватого. При всей ярости, вылившейся на нас, присягаю, что ни одного матерного слова не вырвалось из его груди. Это был, действительно, какой-то благородный гнев.

Тем временем горластая жительница бараков, выбежавшая не то чтобы на шум, а скорей на подозрительную возню под ее крыльцом, уже увещевала сверху:

– Да отпусти, отпусти ты их! Связался черт с младенцами! Что вцепился, Ирод чумазый? Креста на тебе нет! Отпусти, говорю…

Хорошенько тряхнув нас напоследок, как соль в двух пробирках, шофер разжал мертвую хватку, и мы выпали в осадок. А он погрозил, пообещал, что положено, и отправился к брошенному посреди дороги самосвалу.

Тут Валерка, пятясь и часто дыша от страха, выполз на коленках из своего лаза, развернулся и как-то сконфуженно стал рассказывать, как там было плохо: темно, душно, тесно, мыши шуршали… Как ему пришлось на все это время задержать дыхание, чтобы себя не выдать…

– Ребят… ребят…, – повторял он жалостливо.

Мы посмотрели с Колобком друг на друга и подумали одно и то же: нас кинул, а сам свалил – самосвал. Но промолчали. И он замолчал. Все и так было ясно. Он нас невольно подставил, мы его не выдали.

По Курсовому шли, уже слегка опомнившись от пережитого.

Дома я отсутствовал около часа, и меня никто не хватился.

«ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ»

В Третьяковскую галерею мы пошли в ближайшее воскресенье с утра. По дороге купили мороженое и посадили Юрика в сугроб.

Первый же экспонат – два железных футболиста во дворе – ребятам понравился. Скульптор изобразил нападающего и защитника в борьбе за мяч. Но уже из гардероба нас направили в зал икон, где Юрик сильно поскучнел. Все иконы показались ему одинаково тусклыми, неподвижными и печальными. Только возле «Троицы» Рублева какая-то сила ненадолго его задержала. Колобок же осматривал иконы с интересом, а Волканя даже со знанием дела. Чувствовалось, что он тут не первый раз.

По залам, представлявшим русское искусство XVIII века, мы проследовали не спеша. Запомнились портреты царей и цариц, расшитые золотом камзолы вельмож, густо усыпанные орденами…

Перешли к XIX веку. Колобок сразу разулыбался, как только увидел «Грачи прилетели» Саврасова. Он даже крикнул, показав рукой:

– «Грачи прилетели»! – и смутился, покраснев.

Колобок хорошо помнил эту картину по репродукции в «Родной речи», а здесь впервые встретился с подлинником.

Никак не мог оторваться он и от «Утра в сосновом бору» Шишкина. Была б его воля, он полез бы по сломанному стволу вместе с медвежатами.

«Явление Христа народу» поразило всех своей громадностью.

«Трех богатырей» узнали издали. Да и Левитан тоже попадался прежде в репродукциях. А у нас в семье хранился старый альбом, в котором каждый левитановский пейзаж был лишь слегка подклеен сверху к рыхлой желтой страничке и закрыт листом папиросной бумаги, которую я любил даже не приподнимать, а сдувать, как пенку с молока.

Самым интересным оказалась встреча с уже известными произведениями. Одно дело видеть их на коробках конфет, в альбомах или на фантиках, а другое – в оригиналах, на тех самых холстах, по которым художник водил кистью…

В общем, XIX век нам понравился. Но впечатления уже не умещались в голове. К XX столетию картины на стенах начали сливаться в одну разноцветную мешанину. Пейзажи наползали на портреты и сами заслонялись жанровыми сценками, на них громоздились сказочные сюжеты, а тут еще пошли дворцы и парки, похожие на театральные декорации, и сами декорации… Полотна плыли перед глазами, смазываясь, потому что мозг их не воспринимал, а ноги шли все быстрее и быстрее, перегоняя бесчисленные экскурсии, толпившиеся в каждом зале.

Наконец, Колобок остановился, протер кулаками глаза и сказал:

– Ребят, я домой хочу…

– И я, – признался Юрик.

– Я вас предупреждал! – напомнил Волканя.

Почему-то никто из нас не задумался о том, к какой именно мере наказания приговорила «музыкантов» Юлия Константиновна. Может быть, к щадящей – пройти пять-шесть залов и домой. Нет, осужденные решили, что к высшей – внимательно осмотреть всю галерею.

И тут мы заметили группу школьников, плотно стоявшую возле одной из картин. Юрик просочился вперед и увидел Зинулю из нашей школы. Он слышал, что она посещает какой-то «лекторий». Наверно, это он и был. А лекцию читал не экскурсовод, а научный сотрудник – бородатый дедуля, собравший ребят вокруг небольшого портрета. С портрета смотрела девочка в розовой кофточке. Ничего особенного. Обыкновенная девчонка за столом. Мельком взглянуть и пойти дальше, как мы до сих пор и делали. И вот результат: за полтора часа уже, наверное, залов тридцать отмахали! А этот «лекторий» стоял как вкопанный возле одной девчонки и слушал бородача:

– Смотрите: стол взят с угла, а фигура девочки – в пространстве, которое строится по диагонали. Мы глядим на нее как бы сбоку и немного сверху. На груди у Веруши темное пятно бантика, а на нем – красное пятно цветка. Это придает портрету декоративность, но тонкую, не бьющую в глаза… Вы понимаете?.. *Не бьющую в глаза…* В этом проявляется вкус художника. Когда Серов создавал свою «Девочку с персиками», картина представлялась ему окном в мир, полный воздуха и света, и розовое воспринималось как основа колорита, вызывая отклики зеленого тона…

Зинуля стояла с блокнотом и конспектировала все, что говорилось искусствоведом.

– Привет… – прошептал Юрик, пролезая справа от нее.

– Привет… – повторил Колобок, протискиваясь слева. – Ты чего тут делаешь?

– А вы?

– Нас Юлия Константиновна прислала. В наказание. А тебя кто?

– Я сама хожу.

Колобок присвистнул и покосился на блокнот. Там мелким почерком была записана целая лекция по одной картине.

– Ну, ты как аспирантка! – сказал Юрик иронически. – Тебе что, время девать некуда? Сколько ты тут торчишь?

– Не знаю. Давно.

– А мы уже залов тридцать проскакали! Есть разница?

– Ну, и что вы усвоили?

– Что надо, то и усвоили.

Этот «лекторий» ужасно нас развеселил. Придти в музей ради одной-единственной «Девочки с персиками»?! Да мы за то же время все иконы пересмотрели, все царские портреты, все эти… как их?… пейзажи… Правда, разные художники уже в голове путаются…

– Я не все помню, что мы видели. А вы? – спрашивает Колобок.

– Всего не упомнишь, – успокаивает Волканя. – Главное – уловить колорит. Слышал, что «борода» говорил? Основа – колорит!

– А что это? – интересуется Юрик.

– Цветовая гамма, ты понял, камчадал? Бывает гамма в музыке: до, ре, ми…, а бывает цветовая: красный, оранжевый, желтый… От того, как их смешивать, колорит зависит.

– Откуда ты все знаешь?

– А я тут не первый раз.

– А какой?

– Второй, – слукавил Волканя, чтобы не выделяться.

Оставшиеся залы мы преодолели в темпе спортивной ходьбы, с любопытством притормаживая только у приборов, измерявших влажность воздуха в помещении. А как здорово было выбежать во двор, поиграть в снежки и напоследок залепить хорошенько в железного футболиста!

Пришел понедельник, и Юрик рапортовал Юлии Константиновне, что ее приговор приведен в исполнение. В галерее были. Видели все.

– И каковы же твои впечатления?

– Впечатлений масса! – ответил камчадал. – Ну, там иконы всякие… портреты… экскурсий полно…

– Это – общее мнение. А более конкретно.

– А более конкретно…

И тут Юрик вспомнил про «лекторий», который так его рассмешил, про эту девчонку с персиками, сидевшую за столом в розовой кофточке. И почему-то именно ее темный бант и красный цветок, которые он поначалу и не заметил, всплыли в памяти, оттесняя сказочные мотивы, дворцы и парки, парадные портреты, золотые камзолы, ордена…

ДИКТАНТ

Я болел. Заканчивалась третья четверть.

Когда мама проветривала комнату, отправляя папу докуривать папиросу на черный ход, форточка втягивала с улицы сырой, острый дух пробуждавшейся весны. Он мешался с синеватым дымком «Беломора», оттесняя его к дверному косяку, выдавливая сквозь щербатые щели в коридор. Место курившегося табака занимали запахи тающего снега, прошлогодней прелой травы, потоки бодрого холода, готовые разгуляться между окном и дверью. Мама не любила духоты, но опасалась сквозняков.

– Закройся одеялом! – говорила она мне, томившемуся в простудной неволе.

Духота и сквозняк составляли неразлучную пару противоположностей, из единства и борьбы которых складывалось проветривание. Недвижную прокуренную теплынь – папину дымовую завесу – следовало привести во вращение и рассеять струей холода, однако комнату при этом нельзя было выстуживать. Искусство проветриванья заключалось в обогревании домашним теплом свежего дуновения извне. Для этого использовался набор манипуляций форточкой и дверью. Они то осторожно приоткрывались навстречу друг другу; то распахивались во всю ширь; а то вдруг захлопывались порознь или вместе. Иногда это происходило без маминого участия: исключительно попечением порывистой природной стихии. Главное было не упустить момент, когда воздух уже свеж, а комната еще не выстужена. Поскольку проветривать случалось часто, мама достигла в этом деле большого совершенства. На руку ей было и то, что в нашем Соймоновском проезде постоянно, по ее словам, дуло, как в хорошей

трубе, и дуло как раз по направлению к нам – в сторону Москвы-реки. Так что естественная циркуляция обеспечивалась розой ветров. Оставалось лишь подставлять под нее фортку и дверь.

Особенно неотступно вопрос проветриванья вставал тогда, когда я болел, то есть когда меня уже просквозило где-то там, где на диалектику природы, на тонкий баланс тепла и свежести обращали ноль внимания, где нищета философии являлась во всей неприглядности, во всем разоре, как чумичка[15] на костюмированный бал. Она чихала, она сморкалась, переминаясь с ноги на ногу, виновато улыбаясь, извиняясь перед гостями и снова обчихивая их, сторонившихся от нее возмущенно, поспешно и неловко.

К счастью, папа был философски подкован. Он приветствовал диалектический метод проветриванья и не возражал против докуриваний на черном ходе, а вот совсем бросить курить не мог. Мама безуспешно воевала с этим его пристрастием. Слабость была сильней его: без курева работа не шла. Чтобы вникать в статьи уголовного кодекса, в хитросплетения ученой юриспруденции, ему требовалось как следует наникотиниться. Посему с малолетства Беломоро-Балтийский канал во все свои папиросные трубы окуривал меня едким дымом социалистической законности, который, однако, постоянно развеивался струями заоконной прохлады. Тогда я забирался глубже под одеяло и, откинув душный уголок, вдыхал крепкий отвар студеного московского марта.

В сущности это была печальная пора! Грязный снег на сквере; сырость; то тепло, то холодно; то солнце, то хмарь; наконец, моя собственная хвороба – какая уж тут радость, какое упоение? Природа восставала ото сна, пробуждалась от зимней спячки; она была еще полузаспанной, взъерошенной, полной дремучими снежными снами. Никакого энтузиазма во мне это не вызывало. Людей, с лирическим рвением воспевавших весну, я понимал плохо. Грех уныния находил во мне слишком удобную жертву, но тут он вынужден был отступить, поскольку случилось событие, сильно меня взволновавшее.

По общему на все коммунальное царство телефону (Г-6-11-54) нам позвонила из школы моя учительница, Софья Гавриловна, осведомилась о здоровье, узнала, что я пошел на поправку, и сообщила следующее: мне надлежит выполнить контрольную работу по русскому языку – диктант за третью четверть. Она просит разрешения завтра после уроков придти к нам продиктовать и сразу же проверить, как я справился.

– Очень хорошо! – со странной для меня беспечностью откликнулся папа. – Подготовится и напишет.

---

[15] **Чумичка** – замарашка, грязнуха (*прост.*)

– Ты хотя бы завтра с утра в комнате не кури, а то все мозги ему задымишь! – сказала мама. – Надо будет проветриться хорошенько перед диктантом.

– И обедом надо накормить Сохвью Гавриловну, а то, небось, придеть апосля вуроков голодная, – резонно предположила няня.

Таким образом, высказались все. Только я молчал. Но не потому, что мне нечем было поделиться, а потому, что хотелось сказать слишком многое.

Во-первых, я обожал Софью Гавриловну и догадывался, что мое чувство хотя бы отчасти разделяется ею. Я давно мечтал о том, чтобы она побывала у нас: познакомилась с папой, который, конечно, не ходил ни на какие родительские собрания и даже не помнил, в какой школе я учусь. Увидела бы дома маму. Узнала бы, какая у меня няня – настоящая смоленская крестьянка. Пообедала бы с нами…

Однако теперь, когда это свершалось, я смутился и оробел. В школе Софья Гавриловна входит в класс – все встают. А здесь? Она вошла – я лежу. Няня встречает ее очень радушно, но заставляет меня краснеть за свою деревенскую речь. Мы-то к ней привыкли, а Софья Гавриловна не вполне может понять, что это значит: «мол», «дескать», «чичас хворточку прихлопну, а то наш-то милок скока дён из болести не вылезить, почитай, с середы… ай, нет, со уторника». Особенно возмущает меня этот «милок» («Какой я тебе милок?» – «А хто ж ты мне ишшо? Ну, пущай, не милок, так птушенька». – «Я не пту-шень-ка!..»)

Несколько пропущенных мной по болезни параграфов так и остались недочитанными… Мама приносит мне в кровать бумагу, чернильницу-непроливайку, деревянную ручку со стальным перышком, похожим на острый листок, свернутый полутрубочкой; листок, в чьей фигурной прорези посередине лопается, истончаясь, прозрачная чернильная пленка.

Я сажусь спиной к подушке. Все на коленках: неудобно, тесно, горбато!.. Софья Гавриловна устраивается рядом, начинает диктовать, а я – ляпать ошибку на ошибке, ошибку на ошибке… Она переживает за меня, хочет помочь, но как? Ей же совесть не позволит мне подсказывать, хотя никто, кроме домашних, не услышит. Диктант прислан из РОНО. Государственное дело! Страна проверяет мою грамотность! А списать не у кого… Даже если бы Софья Гавриловна смотрела на все сквозь пальцы, папа ни за что бы не подсказал. Из принципа. Мама по милосердию могла бы, но она сама иногда в словах ошибается. А няня и расписываться не умеет. К тому же смотреть сквозь пальцы Софья Гавриловна не будет. Она честно подчеркнет красным карандашом все мои оплошности, ужасно расстроится и, как в воду опущенная, выведет на полях косую «единичку» со

сплющенным носиком, словно втягивающим в себя нашу общую обиду; несчастный «кол», одинаково унизительный и для меня, и для учительницы. А что потом? Что?!. Мы все усядемся за торжественный пир?.. Да у меня ложка в рот не полезет! Папа в мундире военного юриста хлестко продернет портупею под негнущимся серебряным погончиком на правом плече, сделает глубокую затяжку и жестко выдохнет в дверь горькую струю «Беломора». У няни задрожит в руке половник, стуча о край кастрюли. Маму бросит в жар. Она откроет форточку, а папа скажет:

– Поздравляю… Ну, вот у него все из головы и выдуло… Допроветривались.

Будь я знаком с Бархударовым и Крючковым, написавшими учебник русского языка, я бы им признался, что без них никогда в жизни не догадался бы о том, какой русский язык трудный. Они заставляют меня учить его по правилам, как иностранца. Пока я полагаюсь на впечатление, ошибок нет. Как только вспоминаю нужный параграф – возникают сомнения. С другой стороны, мне понятно, что иногда интуиция может подвести, а грамматика выручить. Я думаю о том, что диктант похож на мамино проветриванье: надо исхитриться обогреть живым чувством дуновение правил. Но как?..

Эх, если бы Софья Гавриловна пришла к нам просто пообедать – я был бы счастлив! Мы собрались бы за круглым обеденным столом. Папа – в штатском. Мама ставит на стол свои любимые подснежники. Няня твердой рукой разливает горячий борщ. Я стужу ложку, выжидаю, снова стужу, и каждая проходит, как по маслицу… Никто не славит шершавый мартовский снег, торчащий за окном корявыми сугробами, а все радуются тому, что скоро лето. Обед без диктанта – вот о чем я мечтал, засыпая! Но по скромности Софья Гавриловна может от обеда и отказаться. Тогда вообще останется один диктант…

Папа в полосатой шелковой пижаме сидит у окна за полированным финским столиком, по привычке подогнув одну ногу под себя. Окуриваясь дымом, он быстро-быстро, будто рыбьими чешуйками, зашелушивает чистые листы мельчайшими буковками будущей лекции. Они так и сыплются у него с перышка. Авторучек он не признает. Пишет простой школьной ручкой, – такой же, как у меня, – каждую минуту прилежно обмакивая кончик пера в чернильницу. Почерк у папы аккуратный, разборчивый, но мелкий-мелкий: чешуйки, колечки, завитушки, подковки… Папа обложен книгами, брошюрами, вырезками из газет. Я знаю, что есть такой способ ночной ловли рыбы: на свет фонаря. А папа вылавливает цитаты, плывущие к нему на зеленый свет настольной лампы, и, словно налимов столовой вилочкой, накалывает их отточенным перышком бывшего школяра.

Как-то я выразил свое отношение к его труду:

– Легкая у тебя работа!

– Да что ты?!

– Честно. Ты читаешь по-печатному, а переписываешь по-письменному.

Он засмеялся, дав мне шутливый подзатыльник:

– Ах, ты – шпингалет!..

Конечно, тому, кто исписал такие груды бумаги, перечел такие горы книг, никакой диктант не страшен. И почему в русском языке не все слова пишутся так, как произносятся? Куда проще было бы: «висна», «акно», «Биламор», «сквазняк»… Так нет, ищи проверочные слова: «вёсны», «окна», «белый», «насквозь»… А если проверочного слова не найдется?

Мама спрашивает:

– Ты почему не спишь?

– Не спится.

– Считай про себя. Или представь, что едешь на электричке мимо телеграфных столбов. Их считай.

Я мысленно вижу скользящий за окном железнодорожный откос, вереницу просмоленных, черных столбов с белыми чашечками на рейках, но, опутанные проводами, они не хотят поддаваться пересчету, а превращаются в вороных коней, ведомых под уздцы, скалящих круглые фарфоровые зубы. Ветер играет поводами; те трепещут, звенят, извиваются и незаметно вовлекают меня за собою в сон…

Раз в неделю маме полагался «библиотечный день» – редкая тогда привилегия, дарованная научным работникам для занятий в библиотеке или дома. Напрасно думать, что мама использовала это благо как-то иначе. Мой диктант пришелся на ее библиотечный день, но в установленном порядке не изменил ничего. Единственно, она не пошла в библиотеку, а работала дома. Пока я страдал в компании Бархударова и Крючкова, она вдохновенно выверяла вслух свою ботаническую латынь:

– Humulus lupulus – хмель обыкновенный…

Папа в коричневом костюме отправился по делам куда-то, только не в академию – туда полагался китель. А няня готовила на кухне «званый» борщ. Предстоявший визит учительницы произвел на Филипповну впечатление не меньшее, чем на меня. Она беспокоилась, что Софья Гавриловна не знает, сколько раз нам звонить во входную дверь, и заранее предупредила соседей:

– У нашего нонча дихтант будить. Вучительница сама притить посулилась. Кады не так позвонить, вы уж откройте, сделайте милость! Откуль ей знать, что нам три разá?

Соседи кивали головами и обещали непременно открыть, кому бы из них Софья Гавриловна ни позвонила.

Я представил себе, как она идет из школы моим путем: мимо церкви Ильи Обыденного; по рыхлому, мокрому от таянья скверу с прозрачными прутьями саженцев-тополей; пересекает Курсовой переулок и со стороны Соймоновского проезда подходит к нашему дому, к парадному, украшенному сказочной птицей Сирин. Птица выбита в медальоне, напоминающем плоскую луковку храма: женская головка, увенчанная маленькой короной; пышная перистая грудь; долгое крыло, из-под которого выглядывает птичья лапка с короткими, цепкими коготками.

Софья Гавриловна отворяет двустворчатую, отменно тонкую, наполовину стеклянную дверь в резной светло-дубовой оправе – дверь скорее служащую красоте, нежели защите. Проходит наш звонкий, каменный, холодный вестибюль с огромным зеркалом у левой стены, с черными вешалками и золотыми крючьями для барских шуб – остаток былых времен, когда дом был доходным, жильцы – богатыми, а гости подкатывали к подъезду на рысаках.

Минует дежурную:

– Вы в какую квартиру?

– В седьмую.

– Пожалуйста.

Поднимается по легким лестничным маршам, освещенным цветными витражами солнечных стекол, искрящимся сахарными крупинками, вмурованными в мрамор ступеней. Останавливается перед дверью нашей квартиры (сколько раз позвонить?) и отчетливо нажимает кнопку звонка: раз… два… три.

– Батюшки! Нам звонять. Никак пришла? – спохватывается Филипповна, потому что в дверь действительно звонят.

Пока няня спешит по длинному коридору, у входа учительницу приветствует уже целая депутация хозяек. И тех, кому звонить всего разочек, и тех, кому целых пять раз. Они же обещали… Но к нам в комнату Софья Гавриловна входит одна.

Даже сейчас, вспоминая ее приход, я испытываю нечто, похожее на недостаток решимости. Ведь именно здесь заканчиваются слова и начинается *слово*. Моя нынешняя неуверенность сродни той, что овладела мною тогда. Разница в том, что тогда меня ждал

диктант, а теперь пришла пора передать чувства, вызванные приходом учительницы и самим диктантом.

Мысленно я обмакиваю деревянную с выдавленной звездочкой пера поцарапанную ручку в чернильницу-непроливайку, опасаясь пережать надрезанное вдоль перо, чтобы по стальной расщелинке не съехала на лист, вильнув хвостиком, подвижная, как головастик, жирная клякса, и понимаю, что изобразительность моя, увы, не вполне помощница мне отныне, ибо не вещный мир открывается перед ней, а красота неуловимая, подобная облаку на закате, подсвеченному невидимым, запавшим за крыши солнцем; подобная тонкому облаку, меняющему свои очертания, естественному, как творение Божье, нерукотворному, как зажегший его небесный свет. И прав будет каждый, кто скажет: «Так неужели это красота – полные виновато-влажной печали, уставшие смотреть на мир глаза под полуопущенными складками век, легкая линия не тронутых кистью бровей? Или лежащая на белой бумаге рука с больным, искривленным, коричневым ногтем на указательном пальце? Или голос задумчивый и спокойный, как лесной родник, лишенный нетерпеливого раздражения, обидчивого дрожания, убежденного в собственной правоте жара? Разве способна обратить нас в свою веру эта тихость, эта мягкая кротость, за которой скоро почувствуешь сострадание, но не сразу угадаешь взращенную им волю?

И вот этот голос обращается ко мне, вовсе забывшему обо всех неудобствах домашней экзаменовки:

– Я прочту тебе текст полностью, а потом буду диктовать по предложениям. Хорошо?

«Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении…»

Мама осторожно прикрыла форточку и на цыпочках вышла из комнаты.

«Зелеными облаками и неправильными, трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев…»

Филипповна хотела было войти из коридора, но дверь скрипнула, и няня, тут же плотно ее притулив, так и не вошла.

«Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленный бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная, сверкающая колонна; косой, остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица…»

Телефон за дверью, всегда скупо слышимый в общих шумах, зазвучал вдруг на редкость отчетливо, – так тихо стало в квартире, – но чья-то рука моментально поймала и укротила его певучую трель, чтобы ничто не мешало нам погружаться в дебри старого плюшкинского сада…

«Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал, наконец, вверх и обвивал до половины сломленную березу…»

Тут я почувствовал какой-то подвох для себя, но какой именно – не уследил.

«Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом».

Сделав паузу, Софья Гавриловна стала диктовать с начала по предложениям. В одной руке она держала листок с текстом, в другой – чернильницу, куда я макал перышко, стараясь, чтобы оно не утопало слишком глубоко, чтобы фиолетовая пленка не схватывала узкую прорезь пера, а если это случалось, то лишние чернила я оставлял на бортике непроливайки движением, похожим на отдергивание кошачьего коготка.

Учительница следила за каждой выводимой мною буквой, за регулярным чередованием нажимов и волосных линий. Школьное перышко позволяло вычерчивать буквицы не только правильно, но и красиво. Когда я усомнился в слове «остроконечный» (через черточку или слитно?), она снова перечитала мне эту часть предложения: «косой, остроконечный излом его» – с такой интонацией, что сомнение мое развеялось. Но на слове «частокол» я споткнулся капитально. После буквы «ч» возникла мучительная запинка. Признаюсь, что верный вариант я даже не рассматривал. Выбор колебался между «че» и «чи»: «честокол» или «чистокол»? От слова «честь» или от слова «чисто»? Я решил, что «честь» тут не при чем, а вот «чистота» возможна. Например, гладко ошкуренные колья. Я так и подумал про себя: «Чистокол – забор из гладко ошкуренных кольев». Простое возражение, состоящее в том, что колья могут быть и не ошкурены, я во внимание не принял. Хотя червячок сомнения во мне шевельнулся, я им пренебрег во имя «чистоты» своей неправой идеи и поставил «чи»…

– Ах!.. – вырвалось у Софьи Гавриловны, и щеки ее как будто слегка зарумянились. Рука моя замерла на месте.

– Какое тут проверочное слово?

«Честь» в этом случае я отверг сам. «Чистота» заставила ахнуть Софью Гавриловну. Что же правильно?..

Все-таки я напоролся на «кол». Чего боялся, то и стряслось. Не часто чувствовал я себя так скверно. Можно сказать впервые… «Часто»! Вот проверочное слово.

– Частокол?.. – сказал я полувопросительно, как будто размышляя вслух.

Софья Гавриловна молча повела рукой. Этот жест означал: «Ну, конечно».

Я хотел зачеркнуть «и», а сверху надписать «а».

– Подожди, – остановила учительница. – Не надо зачеркивать. Сделай дужку. Одень на «и» маленькую шапочку – вот и будет «а».

Преодолев орфографическую преграду в лице «частокола», я утратил бдительность и забыл поставить за «частоколом» запятую. Причастный оборот остался невыделенным.

Когда гоголевские крючья хмеля, колеблемые воздухом, завершили мою работу, Софья Гавриловна попросила внимательно проверить текст. Пока я проверял, позвонили во входную дверь. Наверно, это папа пришел к обеду.

– Все? – спросила учительница.

– Все, – ответил я, передавая ей диктант.

Она еще раз быстро проскользнула взглядом по моим старательным каракулям, знакомым ей до буковки, красным карандашом проставила пропущенную запятую и вывела внизу страницы: «5–».

– К вам можно? – спросила мама, постучав в дверь.

– Можно! – ответил я, не скрывая радости.

– Софья Гавриловна, вы пообедаете с нами?

– Не знаю…

– Пожалуйста! У нас все готово.

– Хорошо. Спасибо.

Я ликовал: диктант завершался обедом!

Мама и няня раскинули белую крахмальную скатерть с выпуклыми белыми цветами и стали расторопно накрывать на стол обеденную посуду, а папа по-военному бодро рапортовал в дверях:

– Акулина Филипповна! Разрешите обратиться? Прибыл в ваше распоряжение…

Подтрунивая, он любил говорить, что, если бы няня закончила Военно-юридическую академию, то могла бы читать лекции не хуже, чем полковник Чхиквадзе[16]. А я мысленно представлял ее так: «Советник юстиции I класса, генерал Акулина Ларичева!». Мое воображение охотно наряжало няню в генеральскую папаху, галифе с

[16] **Чхиквадзе** Виктор Михайлович (1912–2006) – советский юрист, член-корреспондент Академии наук СССР.

двойными малиновыми лампасами и непременно нафабривало ей густые, курчавые усы, отливавшие фиолетовым колером школьных чернил!

Софья Гавриловна сразу уловила шутливый тон, царивший у нас в моменты праздничных сборов. Она любовалась мамой, годившейся ей в дочери, ее природным румянцем, подвижной статностью и жизнерадостным гостеприимством. Она, конечно, заметила ту уважительность, то душевное почтение, с которыми няня – неграмотная – наливала ей – учительнице – полную тарелку борща – («срезь!») – так, что ложку нельзя уже было погрузить полностью: борщ мог перелиться через край. Она ощутила ту внезапную стихию карнавала, что умел заверчивать вокруг себя папа, когда бывал особенно в духе, когда гости ему нравились, а Софья Гавриловна нравилась ему заранее – по моим рассказам.

– А у меня за диктант «пять с минусом»!

– Ну-у?.. Поздравляю! И какой же был диктант?

– Про старый сад.

– Из «Мертвых душ», – уточняет Софья Гавриловна.

Папа – в штатском, как я и хотел. За обеденным столом он не курит. На маме – крепдешиновое, в талию, темно-синее платье, окаймленное складчатой оборкой. Самое нарядное! Няня – в шерстяной кофточке, тоже воскресной.

Не происходит ровным счетом ничего необыкновенного. Не распахивается сама собой форточка; не хлопает дверь; не взметаются, сквозняком подхваченные с письменного стола подковки, завитушки, колечки, чешуйки, усеявшие лекционные листы. Ничего подобного не случается, но эта крахмальная скатерть с вышитыми белыми цветами и простой домашней снедью; но эта столь желанная мною, долгожданная встреча; прежде затаенная, а теперь выплеснувшаяся радость; чувство сердечной близости – неуловимой красоты, перед которой меркнут слова, замирает разбежавшееся было по бумаге перо; но этот старый сад, цветущим, «трепетолистным» клином вступающий в комнату, и хмель – счастливый, завязавшийся кольцами, легко колеблемый воздухом, вольно висящий хмель!..

ЧАСТЬ IV

* * *

Обыденная церковь на горе,
Обыденные корты под горою.
Привычно Кремль на солнце отгорел,
Переливаясь кровлей золотою.
По-прежнему покоится река,
И терем детства виден отовсюду.
Но раз душа так празднично легка,
То, что тогда – прикосновенье к чуду?

ОБАЯНИЕ СТАРОЙ МОСКВЫ

1

Итак, я вырос в доме Перцова (Курсовой переулок, дом 1), в древнем районе, когда-то называвшимся Чертольем по ручью Черторый, протекавшему вдоль оврага на месте нынешнего Гоголевского бульвара и впадавшего в Москву-реку возле храма Христа Спасителя.

В те годы, когда Иван Владимирович Цветаев на Колымажном дворе возводил по проекту архитектора Клейна Музей изящных искусств, наискосок от него на набережной Москвы-реки инженер путей сообщения Петр Николаевич Перцов, разбогатевший на строительстве Транссибирской железной дороги, выстроил пятиэтажный доходный дом в стиле русского модерна с высокими крышами-щипцами, с полихромными вставками изразцовых панно, с просторным вестибюлем в зеркалах и черных с золотыми крючками вешалках для барских шуб, с роскошной лестницей, украшенной цветными витражами, с дорогими квартирами и чуть ли ни первым в Москве лифтом. Все это я застал, кроме квартир в нижних этажах. Рабоче-крестьянская власть посадила Перцова в тюрьму, потом выпустила, но за время его отсутствия в четырехэтажной квартире инженера с видом на Кремль уже разместился боевой нарком по военным и морским делам товарищ Троцкий. То, что возбранялось Петру Николаевичу (жить в собственном доме), вполне подходило Льву Давидовичу (жить в собственности экспроприированной). Троцкого не стало, однако дом закрепили за военными. Дальнейшая хозяйственная деятельность оставила не тронутыми верхние этажи, где квартировали большие генералы, а нижние переделала под коммуналки. Вначале на третьем этаже с окном на Кремль, а потом на втором – с окном в Курсовой переулок и жила наша семья. Тем не менее, в одной из дореволюционных, а теперь «генеральских» квартир я часто бывал. Там с пожилой (как мне казалось) матерью и молодым отчимом-офицером рос мой приятель Сашка Байков, сын генерала. Не берусь утверждать наверняка, но подозреваю, что именно в нашем доме (а, может быть, даже в квартире Байковых) до революции снимала апартаменты героиня рассказа Бунина «Чистый понедельник».

Вот как Иван Алексеевич вспоминал приезды к ней лирического героя:

«Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов – и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись извозчичьи санки, тяжелей гремели переполненные, ныряющие трамваи, – и в сумраке уже видно было, как с шипением

сыпались с проводов зеленые звезды, – оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие… Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаке мой кучер – от Красных Ворот к храму Христа Спасителя: она жила против него…»

И далее: «Она зачем-то училась на курсах…»

Да, Лесной переулок переименовали в Курсовой в связи с тем, что там были открыты курсы для рабочих. «Она» была далеко не рабочая, а дочь богатого купца из Твери, но желание поучиться в двух шагах от дома могло у нее возникнуть, тем более что на курсах преподавали Вахтангов и университетские профессора.

Сколько раз видел я в окно часть того пейзажа, который описан Буниным! Часть, потому что в мою бытность на месте павшего храма Христа и так и не построенного Дворца Советов зияло грязное чрево гигантской грузовой автобазы, такой нелепой в самом центре Москвы, у Кремля, между музеем Цветаева и домом Перцова.

«…за одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы; в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него…»

Однажды под Новый год в подвале дома Перцова (в «Красном уголке») детям устроили елку с подарками. Комсомольцы показывали спектакль по повести «РВС» Аркадия Гайдара. Старые жильцы говорили, что до революции в этом подвальчике было кабаре Художественного театра, где в знаменитых «капустниках» выкаблучивали Станиславский и Москвин, Качалов и Сулержицкий. На смену «корифеям МХТ» с их домашними канканами и водевильной чехардой пришли молодые «артисты», к нашему восторгу бегавшие по сцене с маузерами, стрелявшие холостыми патронами, но так оглушительно, что от них закладывало уши. Глядя на революционный азарт детворы, старые жильцы непонимающе улыбались.

2

В вестибюле у нас круглосуточно дежурила консьержка, а около нее на тумбочке лежала почта: письма, газеты, журналы для жильцов. Газеты папа выписывал, но с некоторых пор меня интересовал журнал «Огонек». Зная мою аккуратность, сменные дежурные разрешали мне читать чей-нибудь экземпляр возле них, сидя на черном кожаном диване. Иногда ко мне подсаживался подремать уже упоминавшийся комендант в сером френче и белых «бурках». Но «Огонек» его не занимал. Сначала он шумно дышал,

уставившись в одну точку, а потом и в самом деле задремывал, отвалившись на спинку дивана с неестественно запрокинутой головой.

Каждое воскресенье я спускался в вестибюль, где просматривал очередной номер «от и до». И ныне я ощущаю острый запах типографской краски, такой свежей, что иногда она даже пачкала пальцы. Я помню все журналы тех лет с официальными визитами и вручением верительных грамот, с фотографиями жизнерадостных рабочих и героическими «битвами за урожай», с лучезарной жизнью советских людей и мытарствами их современников, имевших несчастье родиться в странах капитала, с продолжавшимися во многих номерах детективными романами… При этом мной просматривалось тотально все, и *все волновало нежный ум*.

Когда-то няня уже сказала, но, встретив мое сопротивление, теперь повторила снова:

– Чтой-то Восипа Воссаривоныча усе мене поминають, а Уладимира Ильича усе боле…

Хохмач из 3-го «Б» Димка Ферштейн вышел на сквер молчаливый, лохматый, загадочный и под страшным секретом рассказал ребятам, как, проснувшись ночью, услышал рассказ отца о закрытом партсобрании на работе. Отец шепотом говорил матери, что на съезде партии с секретным докладом выступил Хрущев и осудил Сталина за культ личности. У нас дома, наверно, это тоже обсуждалось поздно ночью, но я проспал обсуждение точно так же, как когда-то проспал бабушкин «ночной зефир». А Филипповна – снова нет…

Осень принесла иные смятения. Весь мир заговорил о событиях в Венгрии. К внутренней политике прибавилась внешняя. Наше право вводить свои танки куда угодно меня еще совершенно не смущало. Но меня смутило ожесточенное сопротивление этому праву со стороны венгров, вылившееся в вооруженное восстание и в танковое сражение за Будапешт. Неожиданно близко к сердцу принял я судьбу премьер-министра Венгерской Народной Республики Имре Надя, укрывшегося в посольстве Югославии, но выданного новой власти и тайно казненного. Я привык к тому, что всюду, где бы ни появлялся Советский Союз (а появлялся он везде), он оказывал братскую помощь и был встречаем цветами. И вдруг – венгерское сопротивление на фоне гражданской войны. Тогда я впервые ощутил какое-то отвратительно вязкое чувство своей личной причастности к нашей общей неправоте. Но эта неправота так изощренно оправдывалась интересами «мира и социализма», защитой наших идейных братьев, что все это вместе вносило сумятицу в детскую душу и требовало таких объяснений, которые дать мне не мог никто.

Мировому господству нужны оправдания уже потому, что оно изначально неправедно. Британия расстреливала мирные демонстрации в Индии, грабила половину земного шара, оправдывая свое стремление властвовать над миром более высоким уровнем цивилизованности и тем, что она несет эту цивилизованность колониям. Германия допустила к власти фашистов, требуя расширения жизненного пространства. Она ссылалась на то, что утвердит повсюду железный немецкий порядок, без которого всему грозит хаос и разруха. Соединенные Штаты оправдывали выкачивание природных ресурсов других стран желанием принести им свободу. И лишь Советский Союз казался мне, десятилетнему, понятным и честным претендентом на мировое господство. Вооруженный самым передовым учением, он обещал всех любить, и никого не обижать. Но тут случилась Венгрия, и моя уверенность пошатнулась. Только Олимпийские игры в Мельбурне, которые «Огонек» откомментировал и отфотографировал день за днем, справедливо представив нашей заслуженной победой, помогли мне на время восстановить нарушенное равновесие.

3

Итак, наше окно выходило в Курсовой переулок, а там, в части сквера прямо напротив нас Дом ученых построил теннисные корты, и с конца апреля я просыпался по утрам под тугой, упругий звон мячей о струны; под тенорок тренера Блоха: «Рука пошла, пошла рука!» или под басовитую растяжку тренера Смирнова: «Зама-а-а-х!..» Все это ужасно нравилось, тем более что корты – особенно ближе к вечеру – празднично расцветали обилием нарядной и оживленной ученой публики. В стране товарищей и гражданок возник островок, на который съезжались дамы и господа. Увитый диким виноградом деревянный домик-раздевалка от радости зажигался, как светлячок, просвечивая сквозь ветки и кудрявые зеленые гроздья. На шести площадках одновременно скрещивали ракетки не только новички-мазилы, но и классные игроки, номерные перворазрядники, многие из которых были еще и знаменитыми учеными.

Я занимался в детской секции и часто оставался после занятий поиграть с кем-нибудь из взрослых. Мои партнеры были известны мне по именам-отчествам: например, *Павел Александрович* или *Павел Федорович*. Но время от времени они опознавались мною более полно, то на киноэкране, то по разговорам других людей. Правда, опознавались не всегда верно. Так из киножурнала «Новости дня» я узнал, что Нобелевской премии 1958 года по физике удостоен мой постоянный партнер *Павел Александрович* Черенков. И с Черенковым никакой ошибки не было.

А вот с *Павлом Федоровичем* вышел казус. Сам он мне представляться, естественно, не стал, но почему-то запечатлелся в памяти академиком Юдиным. Позже из «Энциклопедического словаря» я узнал, что китаевед П.Ф. Юдин был Чрезвычайным и Полномочным послом Советского Союза в Китайской Народной Республике, потом директором Института философии АН СССР, членом ЦК КПСС и вообще членом всего, чего хотите. Внешне мой партнер производил впечатление американского босса-троглодита с карикатуры Бориса Ефимова. Он был мощный, бритоголовый, загорелый, блещущий золотым зубом широкой дежурной улыбки. Для полного сходства с «заправилами Уолл-Стрита» ему не хватало лишь гаванской сигары. Сигары не было. В обмен на наши ракеты Куба еще не поставляла нам курево миллиардеров, которое спустя несколько лет можно будет купить в любом табачном ларьке. Разумеется, на своей должности и в свою пору Павел Федорович мог быть никак не ученым, а только факиром истмата, магом научного коммунизма. Меня поразила та быстрота, с которой он в считанные годы сделал головокружительную карьеру. Рассказывали (сугубо конфиденциально), что ее «локомотивом» послужил его «китайский опыт»: в рамках правительственного задания именно он, Юдин, создал вначале по-русски сочинения Мао-Цзедуна, потом сам перевел их на китайский, и они были изданы в Китае и в Советском Союзе, причем русский «перевод» чуть ли не раньше, чем китайский «подлинник», поскольку «перевод» и был подлинником: «Ю-Дин»…

Возможно, это байка. Но такой человек, как Павел Федорович, мог бы сдюжить что-то подобное. Вы посмотрели бы, как он бился за каждый мяч! Если бы я знал тогда, с кем я играю! Как веселило бы меня одно необыкновенное обстоятельство: прихожу из школы, бросаю портфель, наскоро ем, переодеваюсь и после тренировки в детской секции гоняю по углам посла, академика и члена ЦК! Да гоняю не просто так, а под колокольный звон. Это звонят колокола церкви Ильи Обыденного, которая никогда не закрывалась, а в светлые праздники собирала множество верующих, конечно, бабушек в платочках или несчастных обрубленных войной инвалидов, гремевших на своих подшипниках – на не струганых плоских дощечках по Обыденским переулкам…

Как-то член ЦК пригласил к себе в кабинет великого философа-идеалиста Алексея Федоровича Лосева, духовно и физически уцелевшего благодаря тому, что углубился в античность – мифологию, философию, эстетику древнего мира. В конце разговора Юдин спросил:

– Алексей Федорович, а Бог все-таки есть? – на что наученный опытом жизни Лосев ответил:

– Читайте Ленина. Абсолютная истина существует.

Мы ошибаемся не когда сомневаемся, а когда уверены, что правы. Всю жизнь я был уверен, что одним из моих партнеров по теннису был Юдин, и только фотография в Интернете развеяла это заблуждение. Сведения верные, но – внешность… С экрана глядит рыхловатый, с залысинами, бледнолицый, неулыбчивый партийный клерк. Совсем другое лицо! Не факт, что он вообще когда-нибудь держал в руках ракетку… «Хведот да не тот!» – как сказала бы Филипповна.

На каких только кортах я ни соревновался! Но нигде не игралось мне так счастливо, как в Курсовом переулке перед нашим открытым окном на втором этаже. Позже я понял, что дело было не в качестве утрамбованного грунта, засыпанного просеянным свежим песком; не в его праздничной желтизне, ярко размеченной белыми линиями; не в счете геймов и сетов – вовсе не в результате, а во всем необычайном антураже той игры: в знакомых лицах на соседних площадках; в панической («маяковской») реплике турнирного бойца, опаздывавшего от сетки к задней линии: «Что я наделал? Я погиб!»; дело было в дуновении зацветающих лип, мешавшемся с крепким ароматом какао, веявшем из-за Москвы-реки от темно-кирпичных корпусов кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Дело было в теплых сумерках, зажигавших окрестные окна, в их клубившейся, постепенно сгущавшейся синеве; дело было в нарядной даме, гулявшей по переулку с двумя поджарыми борзыми, легкими, качающимися на тонких лапах и упругими, как пружинки; дело было в перезвоне церковных колоколов на взгорье и в маме, маме, машущей мне рукою из окна!..

Дело было в обаянии старой Москвы.

4

Как трудно жить без кумиров, идеалов, примеров для подражания в начальные годы, когда мир познается так горячо, так жадно!

На заре моего теннисного ученичества таким кумиром стал для меня Слава. Изящный, ловкий, быстрый, успевавший к любому мячу, подававший точно и мощно, непробиваемо надежный у сетки и при этом легкий, улыбчивый, общительный, он обладал непобедимой притягательностью, как только я его видел. А видел я его часто. Он тренировался почти ежедневно, прибавляя в технике, темпе, атлетизме, и на моих глазах вырос в мастера спорта, профессионала, лучшего игрока теннисных кортов Дома ученых, известного по Москве турнирного бойца. Постоянного времени тренировок у него не было. Он мог выйти на корты, и с утра, и вечером, а то и днем, раскованно и весело

кидаясь с партнером или сосредоточенно преодолевая его сопротивление при игре на счет. Раздевалкой Слава никогда не пользовался, поскольку жил где-то рядом с кортами и приходил уже в шортах и футболке.

Бывало, возвращаешься из школы усталый, а то и не в духе, с тяжелым портфелем бредешь по скверу домой и вдруг видишь: «Слава играет!» – и как солнце проблеснет – настроение сразу меняется.

Жизнь без одушевления – довольно унылая штука, и пока ты не находишь постоянных источников одушевления в себе самом, ты ищешь их в окружающих тебя людях.

Однажды после дождя, смочившего сухой песок площадок, когда окаменевшая от жары корка размякла и набухла, а горьковатый запах окаймлявших корты тополей стал острее и резче, Слава предложил мне с ним сразиться. Мы вышли на Первый корт. Некоторое время он бросал мне щадящие, удобные для парирования мячи, ну, а, почувствовав, что я с ними справляюсь, начал плотно бить по углам и загонял меня до седьмого пота. Зато, когда мне удалось подрезкой выманить его к сетке, а потом длинным ударом обвести по боковой линии, он на миг застыл, вытянувшись в полу-шпагате, и похлопал в мою честь ладошкой по струнам ракетки. Эти бесшумные аплодисменты не стихали во мне до конца игры.

Иногда к Славе присоединялся младший брат – полный нерастраченных сил творец упругих, звонких ударов, порой не совпадавших с размерами корта. Тем не менее, в паре братья энтузиазмом младшего и четкостью старшего сокрушили не один академический дуэт, притом, что среди профессуры попадались крепкие орешки, бывалые фронтовики, а ума и спортивной хитрости им было не занимать.

В школе нас выводили на «линейки» в Актовый зал. Классы выстраивались гуськом параллельно друг другу по росту: кто пониже – впереди; кто повыше – сзади. Я стоял рядом с красивой смуглой девчонкой из параллельного класса. Мы были одного роста. Ее звали Светкой Арабовой, а больше я ничего о ней не знал.

Перед чемпионатом мира по футболу мальчишки на сквере заключали пари: кто победит? Южноамериканский футбол казался нам таким же фантастическим, как джунгли Амазонки, потому у большинства в первую тройку попали Аргентина, Бразилия и Уругвай. Победила Бразилия, но вторыми были шведы, а наши с минимальным счетом проиграли только бразильцам.

Я жил событиями на футбольных полях, теннисных кортах и гаревых дорожках, но не все ребята из нашего класса, не говоря уже о девочках, проявляли интерес к спорту. Тогда я решил готовить внутриклассную стенгазету «Спорт» с фотографиями из центральных газет, с общими заметками. Но никто меня не поддержал, и азарт мой стал иссякать. В это время к нам пришла новая пионервожатая – десятиклассница Нина Орошко. Она была хорошая. Легкий загар никогда не бледнел на ее лице. Красоту ее одушевляла какая-то необычайная нежность общения. Нина разделила мой просветительский пыл. После уроков мы оставались с ней вдвоем в пустом классе и делали газету: сочиняли, шутили, выбирали фотографии, вырезали, клеили. Я, который прежде после уроков убегал из школы первым, теперь ждал возможности задержаться подольше, и виной тому служило уже совсем не мое пристрастие к стенгазете… Но разницы в пять лет было не обойти. Нина оканчивала школу, а я пребывал посередине дистанции.

В пятом классе мы учились во вторую смену. Утром перед тем, как делать уроки, я слушал радио. Передовая статья и краткий обзор газеты «Правда» меня трогали мало, а вот очерки текущей жизни казались более занимательными. В череду знакомых мне радиоголосов (Качалов, Бабанова, Плятт, Грибов, Сперантова, Яншин) влился новый голос. Он принадлежал артисту театра имени Ермоловой Валерию Лекареву. Не было сомнения в том, что Лекарев – симпатичнейший человек. Тем более я жалел, что ему часто доставались самые простецкие, самые стертые тексты: о цехах и колхозах, о стройках и соцсоревновании.

Как-то слышу возле раздевалки на кортах:

– Лекарев! Валерий Петрович, давайте завтра вечерком поиграем?

– Извините. У меня премьера в театре.

А на следующее утро подхожу к окну: по Курсовому деловитой походкой с папочкой подмышкой, трусит плотненький Валерий Петрович, возвращаясь с радио, по которому только что отчитал очередной очерк.

Я занимаюсь в детской секции. Держать ракетку меня научила Марьяна Васильевна. Теперь она готовит нас к первым соревнованиям и говорит отдыхающим на скамейке взрослым теннисистам:

– Проведем турнир на юношеский разряд. Есть, кому побороться. Наши силачи: Алеша, Филатов… А Славка проиграл чемпионат Москвы – весь сезон себе испортил.

Догадываюсь, о ком идет речь, но почему Марьяна Васильевна именует его так по-свойски – «Славкой», как будто это – ее родственник? Непонятно. Однако обижаться на нее не могу, тем более что она так расположена ко мне, так улыбается, гуляя по вечерам мимо нашего дома с двумя борзыми на длинных поводках, обвивающих ее запястья и унизанные кольцами пальцы.

Я уже усвоил, что Марьяна Васильевна живет рядом с нами, напротив кортов, в двухэтажном особнячке с островерхой башенкой. Но туда же возвращается после записей на радио Валерий Петрович, а вечерами они нередко куда-то уходят вместе. Уж не в театр ли Ермоловой?..

Однажды возле их дома стоял зеркальный «ЗИМ» – персональная машина из тех, на каких шоферы возили министров, маршалов и генералов. Из дома в сопровождении Марьяны Васильевны и Светки вышел подтянутый генерал-лейтенант и, попрощавшись, сел в машину.

Я не вел никакого генеалогического расследования, но, читая женскую «пульку» осеннего турнира, невольно обнаружил, что фамилия Марьяны Васильевны – Орошко, а, читая «пульку» мужского турнира, выяснил, что Слава и его брат – Лекаревы. Все они живут в том самом особняке напротив, который я прозвал «Вавилонской башенкой». Получалась необыкновенная семья. Каждый «семьянин» в отдельности был мне знаком, но я и не подозревал, что они – все вместе.

Слава Лекарев с братом. Девочка из параллельного класса Света Арабова. Моя пионервожатая Нина Орошко. Ее мать Марьяна Васильевна – мой первый тренер. Знакомый радиоголос – народный артист республики Валерий Петрович Лекарев. А еще имеющий к ним какое-то отношение генерал-лейтенант…

Мне только предстоит узнать, что Марьяна Васильевна и Слава – это мать и сын. А тогда разобраться в так неожиданно открывшемся мне и таком радостном для меня ералаше, в этом «вавилонском столпотворении» было выше моих сил. Я и теперь, издалека, по прошествии целой жизни, не берусь проследить достоверно все родственные связи между этими милыми моему сердцу людьми, так светло прошедшими через годы моего детства, но ведь, в конце концов, не к замысловатости жизненных коллизий хотел бы привлечь я внимание, а к тому долгому-долгому свету, который остается в нас независимо от того, разрешены ли все хитросплетения, развязаны ли все узлы и сказаны ли все слова.

БОХ

Как же я любил порасспрашивать Филипповну о чем-нибудь таком, на что мне не мог ответить никто, кроме нее! Дух времени, в котором я рос, оставался строго светским, советским, противным духу веры. Жизнь человека укладывалась в рамки его жизни. Ни до, ни после для него ничего не существовало. Тьма. Была, конечно, память о великих людях, но ведь и память – дело временное. Пока живу, помню, а ушел и забыл. Между тем, душа не хотела мириться со своим небытием, соглашаться, что ее не было прежде и никогда не будет потом, что я есть, пока я есть. В школе говорить об этом было не с кем. Дома такой предмет мог бы обсуждаться с папой, но лишь постольку, поскольку он сводился к философским категориям, скажем, к противополаганию временного и вечного. Хотя даже если бы папа снизошел до такого обсуждения, вряд ли оно оказалось бы мне по силам. Мама – другое дело. Она с радостью поддерживала любую тему, меня волновавшую. Однако и она вдаваться в некоторые вопросы избегала. И тогда я обнаружил, что о самом непонятном, о самом таинственном вполне возможно говорить с няней; что для этого не надо заканчивать ни Военно-юридическую, ни Тимирязевскую академии, а достаточно родиться до революции в русской деревне.

Церковь няня посещала редко, еще реже брала туда меня. Наверно, не хотела подводить папу, чтобы никто в доме не сплетничал о том, что сына советского офицера воспитывает темный человек: верующая. Молилась она тихо-тихо и только когда в доме, кроме меня, никого не было.

Икон не имела и никаких богословских бесед со мной не вела, соблюдая свойственный ей душевный такт. Она, видимо, считала некорректным вносить в мой ум сумятицу, противореча тому, что проповедовалось вокруг. Но было одно неведомое для меня имя, одно понятие, не вспоминать которое она не могла. В ежедневной речи ее со всей естественной простотой звучало слово *Бог*, чью последнюю букву она непременно оглушала. «Помилуй Бох… Бох дал, Бох узял… Бох-то Бох, да и сам не будь плох!..» Иногда перекрестится и скажет со вздохом: «Господи Сусе Христе, Матерь Божья…»

Сперва я пропускал это мимо ушей, но однажды, будучи уже кое о чем наслышан, поинтересовался:

– А кто такой Бог? – Мне хотелось узнать это от Филипповны.

– Хто на небе править и оттудова усе видить.

– Это человек?

– Какой ишшо человек?.. Бох!

– А Христос человек?

– А то хто же? Божий Сын.

– Как же Сын, если Бог не человек?

– Как же не человек, ежели говорять: Бог-Вотец?

– Ты же сама сказала, что Бог не человек, а Христос – человек?

– Глянь-кось, глянь-кось, увозьми его за рупь двадцать! Потому, что Бог – Триединый: Бог-Вотец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Оне уместе. Понял теперь?

– А Дух Святой – это кто?

– Усе тебе доскажи. Ишь, какой настырник! Хто да хто? Нихто!.. Голубь.

– Голубь?.. А он где живет?

– Увобче-то Дух Святой увезде, но, бываить, является голубем. Так Ён Богородице явился, а Вона и роди Младенца. Исуса, значить. Муж у Ей, конешно, был. Восипом звали. Но Вотец Исусу не Восип, а Бох.

– А тогда Осип Ему кто?

– А Восип Ему выходить навроди вотчима. Не родной. Смекаешь?

– Смекаю…

Но все-таки смекать это было нелегко. За одну беседу Филипповна просветила меня и по поводу Триединства и по поводу Непорочного Зачатия. Правда, сама она не умела расслышать слово *зачатие*. В первый класс она водила меня в мужскую тридцать шестую школу, которая помещалась в *Зачатьевском* переулке, в бывшем женском *Зачатьевском* монастыре. От него к тому времени оставалась только часть почерневшей, спекшейся стены из литого, трехсотлетнего кирпича да худенькая арка кирпичных ворот. Переулок няня называла *Зайчатьевским*, так же как и монастырь, производя их вовсе не от *зачатия*, а от слова *зайчатина*. То, что эта звуковая тонкость меняла суть дела, Филипповну, похоже, ничуть не тревожило. Зайчатьевский так Зайчатьевский…

А я, убедившись в том, что догматы христианства даются мне туго, следующий раз повел речь о земной жизни Иисуса, особенно о Его страстях. Меня волновало, за что распяли Христа, если ничего плохого Он не сделал.

– Значить, так Антихрист распорядился. Через Ивуду-предателя.

– Как распорядился?

– Обнаковенно. Собралась шайка-лейка и постановила Его порешить.

– Кого? Иуду?

– Да не Ивуду, а Христа, несмысленый!

– Почему же Христос дался себя схватить? Не убежал, не скрылся?

– Стало быть, не хотел. Пострадать удумал, чтобы народ усовестить.

– А что народ? Почему за Него не заступился?

– А что – народ? Народу, что прикажуть, то и ладно. Ишшо и сам подбавить.

– И Бог их не наказал?

– Ивуду наказал так, что тот себя жизни лишил.

– А остальные?

– Остальные спаслись, и те, что прежде жили, и те, что новые народились и народятся когда ишшо…

– Как спаслись?

– Через Христа. Он муки принял за их, а их спас. Вот и говорять, что, мол, дескать, Спаситель.

Как чудно́ все это, как странно!

Не побеждать врагов, а предаваться их суду и казни. Не призывать людей на свою защиту, а молча терпеть их поношения. Не молиться о спасении, а пойти на смерть ради тех, кто поносил Тебя, будет поносить и стать их Спасителем! Это не укладывалось в голове.

Только что кончилась великая война. Страна-победительница славила и оплакивала своих героев. Культ праведной силы не оспаривал никто, равно как и культ вождя, слившийся с этой силой. По всем храмам, уцелевшим от гонений и войны, шли богослужения во славу воинства, служились панихиды по погибшим. Власть и Церковь на время сблизились. И вот тогда в соседнем с нами храме Ильи Обыденного произошел случай, о котором и няня, и родители, наверно, слышали, а я зацепил лишь краем уха, чтобы подробно узнать лишь годы спустя.

На празднике в честь иконы «Нечаянной радости» в церкви Ильи присутствовал Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий I. После Божественной литургии отец Николай Орфенов и церковный хор стали возглашать многолетия. Переполненный жнародом храм внимал тому, как отец Николай, по-дьяконски все более и более возвышая голос, возгремел: «Стране Российской, властем и воинству ея и первоверховному Вождю…» И тут, неведомо откуда взявшаяся на солее, пожилая прихожанка вывернулась из-под руки державшего крест Святейшего, плюнула в отца Николая и закричала на весь храм:

– Не смейте поминать диавола, христопродавцы!

Дьякон наддал голосу, сколько мог. Регент возбудил хор так, чтобы заглушить анафему. А прихожанка плевалась во все стороны, словно в нее саму вселился тот

«диавол», которого она призывала не поминать. Она металась по солее перед иконостасом, повторяя:

– Иуды! Христопродавцы! Не сметь поминать!

А когда обессилила, хор и отец Николай продолжали возглашать «Многая лета!» теперь уже отцу Александру – настоятелю храма и богохранимой пастве его. Отец Александр (Толгский), попустивший в своем стаде такую овцу, мысленно прощался с жизнью, а паства со страху кинулась к выходу, и храм опустел. Не потерявший самообладания Патриарх остался в окружении горстки перепуганных иерархов.

Чудо, однако, состояло в том, что, по слову очевидца, ни для кого никаких последствий этот случай не имел. То ли все списали на невменяемость верующей, то ли учли, что дело произошло на глазах Святейшего и невольно компрометировало его, а он пользовался личным расположением вождя. А, может быть, тут вмешались какие-то неведомые силы…

* * *

Если по части Триединства и Непорочного Зачатия Филипповна меня подковала, то другой догмат по-прежнему не давал мне покоя: Святое Воскресение. Что значит: «Смертию смерть поправ»? Как это – «воскреснуть из мертвых»? И почему «Воистину Воскрес!», если своими глазами в этой истине не убедился никто?

По поводу Воскресения Господня няня долго рассуждать не стала. Ее мнение сводилось к тому, что если бы Воскресение видели все, то и верить было бы не во что. Верующим хочется, чтобы Христос воскрес, и они веруют, а неверующие отрицают. Я не мог допустить, чтобы мама или папа (при всей его строгости) не хотели, чтобы Христос воскрес. Но они, конечно, сомневались: было ли это? Да и вообще не очень задумывались над вопросами веры. Мама признавалась, что мало в них разбирается. Однажды она назвала себя внучкой ксёндза, рассмешив папу. Это выражение – «внучка ксёндза» – стало у него нарицательным, когда речь шла о какой-нибудь несуразности. У ксёндза не бывает ни дочек, ни внучек. У него – целибат. В отличие от православных батюшек ксёндз не женится. Он – католик. Польский священник.

Такая путаница вышла у мамы потому, что о многом тогда не говорилось. А больше всего скрывали то, что относилось к родственникам, к семье. Мамин дедушка, Павел Мацкевич был протоиереем, последним из древнего рода православного духовенства. Но служил он в Барановичах, когда они принадлежали Польше. После Первой мировой войны там сгорел деревянный храм. Верующие собрали деньги на новый

– каменный. Польское правительство добавило злотых, и православный собор построили. А строителем и первым настоятелем Свято-Покровского собора стал мамин дедушка. Но об этом никто в семье не говорил, как будто этого не было. Вот мама, наверно, и решила, что если священник служил в Польше, значит, он – ксёндз. А у «ксёндза» было четверо детей…

Одна из его дочерей, тетя Женя жила в местечке Юодшиляй под Вильнюсом. Мы с мамой ездили к ней в гости. У Евгении Павловны был дом и сад с пасекой. Сад окружала изгородь, состоявшая из одних столбов с пустыми слегами, а штакетника не было. Изгородь смотрела в поля. Оттуда со взятками прилетали толстенькие, разгоряченные пчелки, гудевшие над ульями так, что зыбился воздух. Вечерами тетя Женя рассказывала маме о дедушке и построенном им соборе. Когда он был почти сооружен, в самом центре Варшавы поляки разрушали огромный православный храм Александра Невского, считая его перстом Российской империи, напоминавшим о ее господстве над Польшей. Но мнение депутатов сейма разделилось. Храм украшали русские мозаичные иконы мировой художественной ценности, и часть депутатов предлагала это учесть. Спасти удалось немногие из мозаик. Они и попали в Барановичи к Павлу Мацкевичу на стены нового храма.

Варшавский собор, наследовавший красоту собора Святого Марка в Венеции, строили восемнадцать лет, собирая средства по всей России, превращая в дарохранительницу искусств. Якобы отец Иоанн Кронштадтский, пожертвовав крупную сумму на строительство, произнес: «Долго не простоит…» Через пятнадцать лет после завершения работ собора не стало. Напоминанием о нем служат теперь лишь мозаики в храме дедушки Павла.

* * *

Довольно рано я почувствовал, что в самой Церкви заключено какое-то противоречие между земным и надмирным, и что привести их в согласие удается не всегда. Но это же противоречие я ощущал и в себе самом. Меня удручала бедность церковной утвари: липкие подстеленные клеенки, подоткнутые бабьи тряпочки, болезненная бледность постящихся, одинокий, хрупкий голосок хористки, взлетавший не выше Деисусного чина[17] и вновь опадавший на клирос, как больной голубь; подслеповатое смаргивание коптящих свечек… Церковнославянская речь богослужений

[17] **Де́исусный чин** – второй снизу ряд икон на иконостасе.

оставалась для меня тайной за семью печатями. Хотелось богатства, пышности, золота; хотелось, чтобы люстры раскачивались волнами гремящего хора, а каждое слово доходило до меня без обращения к знающим людям! Но когда в немых дореволюционных кинохрониках все это проступило крупным планом, возникло странное чувство неловкости, неуместности происходившего: как будто в хижину внесли царский трон. За пышностью утрачивалось что-то неизмеримо более важное, нежели внешний блеск. Пышность отвлекала. Духовная красота подменялась наружным великолепием. Сердечная радость – роскошью зримого. Надмирное не выдерживало объятий земного.

Ни с чем не сравнимым было мое впечатление от церкви Покрова на Нерли, вообще лишенной всякого убранства! В ней не было ничего, кроме божественных пропорций. Или древняя деревянная церковь под Ригой с кривым порогом, рассохшимися, щелястыми досками теплых от солнца стен, казалось, пахнувших самим Древом жизни! Или в Троицын день – по щиколотку усыпанный мягким разнотравьем пол удаленной обители…

Храм затрушен свежею травой,
Весь увит весенними цветами.
Кажется, что Иисус живой
С улицы вошел сюда за нами.
Мы еще не видим в темноте,
Как стоит Он тихо за спиною,
Чуткою своею немотою
Прикасаясь к нашей немоте.

Солнечный, спустившись с хоров, луч
Тьму разнял и сделал пыль прозрачной.
Что он осветил, как альт, певуч,
В этой душной полночи чердачной?
Лика материнского овал?
Детство, проступающее в грезах?
Запах трав и дух сухих березок –
Троицы душистый сеновал.

Теперь, когда Бог вокруг нас день ото дня становится все более антуражным и позолоченным, звонким и твердым, мне вспоминается Тот, Другой, Кому украдкой без иконы и свечи чуть слышно молилась няня, и Кого звала она приглушенно: *Бох*…

ДУШИСТЫЙ ВЕТЕР «ШИПРА»

Обычно папа брился дома.

Он устраивался за письменным столом, расположив на газете чашку с кипятком, помазок, мыло, безопасную бритву, одеколон и зеркальце на подставке.

Хорошо взбитая мыльная пена превращала папу в «деда Мороза» с белой бородой и густыми усами. Я смеялся, стоя за плечом, просил подольше не сбривать пену, побыть в ней:

– Тебе идет…

Папа отшучивался:

– Ах, ты – шпингалет!.. – и легонько смазывал меня пенным помазком по кончику носа. А потом, обмакнув станочек в кипяток, освобождался от мыла и щетины.

После этого он брал в одну руку флакон «Шипра», а другой нажимал на резиновую оранжевую грушу. Та соединялась с маленькой камерой, похожей на волейбольную. Плоская камера у меня на глазах округло раздувалась, натягивая нити защитной сетки, и облачко «Шипра», о чем-то счастливо шепча, отчаянно пришепетывая и щекоча ноздри, вырывалось наружу сквозь загнутый металлический носик. Это называлось: флакон с пульверизатором!

Как будто свежий ветер проносился по комнате, опахивая меня своим острым дуновением.

Фук-пшш… Фук-пшш… Фук-пшш…

– Освежить? – предлагал папа с неожиданной игривостью, словно копируя кого-то.

– Освежить! – отвечал я, уворачиваясь от струйной пыли.

– Хвукни, хвукни ему у нос, рикошетнику, Еугений Лексеич, – подначивала Филипповна. А когда ветер «Шипра» долетал и до нее, вскрикивала: – Ах, ты, мать честнáя! Как же ён прошибаить, врах его увозьми!.. – и отмахивалась от невидимого озорника, прикрывая нос кончиками белого в синий василек платочка.

Это – что касается бритья. А стригся папа всегда у одного и того же мастера в парикмахерской на Метростроевской улице. Ну, а когда стригся, то попутно у него же и брился.

– Ну, пока! Я – к Семену, – говорил папа, сдвигая перед зеркалом фуражку чуть наискосок – на правый височек.

Помимо стрижки, Семен умел еще и развеселить клиентов. Из парикмахерской отец всегда возвращался в прекрасном настроении, как будто с легкого праздника, пьянившего без вина.

Мне ужасно хотелось тоже побывать в парикмахерской, увидеть Семена, а папа все не брал меня и не брал. Но вот в конце августа было решено, что мы пойдем в парикмахерскую вместе. Мне следовало подстричься перед школой.

Недальний путь пролегал по Соймоновскому проезду. Папа был в военной форме, поэтому держал меня за руку левой рукой, время от времени козыряя встречным офицерам, – вокруг жили военные, – и мне эти взаимные приветствия очень нравились. Как будто офицеры здоровались не только с отцом, но и со мной, из незнакомцев превращаясь в хороших знакомых, с которыми лишний раз приятно встретиться.

Парикмахерская занимала полуподвал. Туда вели три обитых железными уголками деревянных ступени. В тесной прихожей, у самой входной двери, в нише за откидной доской стоял тугоухий гардеробщик в черном с золотыми шершавыми галунами кителе ресторанного швейцара. Мы не могли войти до тех пор, пока он не почистит щеточкой пиджак вновь подстриженному клиенту и не подаст ему плащ.

В полутемной, без окон, прихожей играло радио, сидели несколько мужчин, молча скучавших в ожидании своей очереди.

Зал отделялся от прихожей бархатным занавесом вместо двери. Отогнув краешек, папа заглянул внутрь и поприветствовал Семена, а я просунуть нос за занавес не успел.

По радио передавали концерт по заявкам. Шла сцена из «Свадьбы с приданым». Вася Курочкин (артист Доронин) развернул гармошку и запел с неподражаемой сипотцой:

Из-за вас, моя черешня,
Ссорюсь я с приятелем.
Неужели климат здешний
На любовь влиятелен?

Я тоскую по-соседству
И на расстоянии,
Ведь без вас я, как без сердца,
Жить не в состоянии.

Очередь одобрительно зашевелилась. Гардеробщик выставил из ниши большое желтое ухо, приложив к нему ладонь. А когда дело дошло до комплиментов, которые

районный парикмахер отпускал Василию, штора отдернулась и передо мной предстал Семен. Я его узнал, хоть и видел впервые.

Семен был черноволос, упитан и смугл. В зеленоватых глазах его, как чертенята на болотце, перепыхивали огоньки. Обтянутый белым халатом, высокий животик парикмахера подрагивал от смеха.

Семен пропустил подстриженного им старика, опиравшегося на толстую трость, передал его попечению гардеробщика и пригласил папу, как постоянного клиента и офицера:

– Товарищ капитан, прошу!

– Я с сыном.

– Кого сначала?

– Давайте меня.

Папа вошел в зал, а Семен специально не задернул бархат, заложив его за спинку стула, чтобы мне была видна хотя бы часть зала.

– Вальс из оперетты Имре Кальмана… – начал диктор, но название оперетты затерялось в помехах эфира.

Заиграл оркестр. Воодушевленный музыкой, слегка пританцовывая возле кресла, Семен взбил в железном стаканчике пушистую, мягкую как сугроб, горку пены и, покручивая пышным помазком, бережно укутал ею папино лицо до самых глаз.

Потом в ритме убыстрившейся музыки парикмахер на потертом кожаном ремне заправил длинную, как дирижерская палочка, бритву и, разведя локти, словно маэстро над первой скрипкой, замер над клиентом.

Покорная паузе, смолкла и музыка, а когда она зазвучала вновь, Семен несколькими отточенными движениями, кажется, почти не касаясь снежного покрова, снял всю пышность сверху вниз со скул; снизу вверх с подбородка; смешно оттянув кончик носа, смахнул пену над верхней губой, и папа предстал во всей красе гладко выбритым, с чисто лоснящимися щеками.

– Прическу поправить? – спросил мастер.

– Поправьте.

Парикмахер взял алюминиевую расческу с частыми зубчиками, поклацал косыми лезвиями ножниц, словно разминая пальцы и одновременно проверяя остроту инструмента: легко ли разрезает он воздух? Остался доволен: легко. После чего подстриг папе височки, аккуратно зачесал волосы назад и напоследок предложил то же самое, что дома папа предлагал мне, и с той же игривой интонацией:

– Освежить?

– Освежить!

– Чем желаете? «Красной Москвой» или «Шипчиком»?

– Давайте «Шипчиком».

Семен ухватил со столика такой же флакон, что был у нас, ловко поймав на лету оранжевую грушу, и как бы провальсировал с флаконом возле кресла.

Искристая пыльца замелькала над папиной головой; мерцающая, бисерная пыльца – веселая, как мошкара, роящаяся в теплой восходящей струе!

Парикмахер обходил папу туда и обратно по полукругу, опрыскивая лицо, снова возвращаясь к затылку, махал полотенцем, разгоняя во все стороны крепкий одеколонный дух, внимательно промокал салфеткой бусинки «Шипра» на лбу и щеках.

Папа встал подтянутый, посвежевший. Очередь была за мной.

Семен подсадил меня в кресло, укутал белой простынкой, заткнув ее вокруг шеи за воротничок рубашки, и спросил у папы:

– Как будем стричь?

– А вот этого я и не знаю… – несколько растерялся папа. – На ваше усмотрение.

– Бокс? Полубокс? Полька?

– Ну… Пусть будет полубокс, – остановился папа на промежуточном варианте.

– Сейчас мы подстрижем тебя под Шоцикаса, – пообещал мне парикмахер. – Знаешь, кто это такой?

– Знаю. Боксер.

– Ха! Не просто боксер, а чемпион Европы и Советского Союза в полутяжелом весе Альгидрас Шоцикас! Хочешь быть боксером?

– Нет.

– А кем?

– Борцом.

– Каким? Вольным или классическим?

– Классическим.

– Молодец! Мне классическая борьба тоже больше нравится. Она корректней.

Тем временем Семен вовсю стрекотал надо мной толстенькой ручной машинкой с загогулиной под большой палец; прядки волос опадали мне на плечи, хаос на голове сменялся ровной стрижкой с четким чубчиком полубокса, легшим на лоб косым углом.

– Чубчик покороче? – обратился Семен к папе.

– Покороче.

Прислонив холодное ребро ножниц к моему лбу и примерившись, мастер с удовольствием отчекрыжил еще полоску.

– Устраивает?

– Вполне, – одобрил папа. – Чубчик – что надо!

Семен осторожно вынул у меня из-за шиворота край простынки и стряхнул волосы на пол. Потом он прошелся кисточкой по шее, сметая мелкие волоски. Я поежился.

– Чего ежишься? Щекотненько?

– Щекотно.

И снова последовало игривое:

–Освежить?

– Ты как? – спросил папа.

Я молчал. Шипучий одеколон пугал меня своей жгучей едкостью, а все-таки освежиться после стрижки было так по-мужски!

– Опрысните немножко, – сказал за меня отец.

Закрой глазки, – велел мне Семен. – Да не жмурься так, спокойно прикрой. Ничего страшного. Ты что – «Шипра» боишься? А борцом хочешь быть… Смелей!

Я вцепился руками в подлокотники кресла и в этот момент мальчишечий голос послал мне свой привет из радиоприхожей:

А, ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер…

Фук-пшш… И я потонул в зеленоватом облаке «Шипра» – острого, пахучего, резко обдавшего ноздри стойким ароматом.

Фук-пшш… Фук-пшш… Фук-пшш… – работал Семен.

Я отчаянно жмурился, вертя головой, но терпел, терпел эту счастливую муку.

Спой нам, ветер, про синие горы,

Фук-пшш…

Про глубокие тайны морей.

Фук-пшш…

Про птичьи разговоры,

Про синие просторы,

Про смелых и больших людей!

Фук-пшш-ш!.. – закончил Семен.

Он обмахивал меня полотенцем, промокал и снова обмахивал, смеясь.

– Ты что? Первый раз в парикмахерской?

– Его впервые по-настоящему спрыснули, – смеялся в ответ папа.

А я слезал с высокого кресла и тер щипавший глаз.

– Зачем же ты так жмурился? Я тебе говорил: «Не жмурься». Чуть-чуть попало? Сейчас пройдет. Вот тебе в подарок расчесочку, держи. Будешь причесываться.

– Спасибо, не надо, – отказывался я.

– Дают – бери! – смеялся Семен, кладя расческу в мой нагрудный кармашек.

Мы с папой вышли на улицу, и в неподвижном вечернем воздухе долго еще витал надо мной этот свежий, пиршественный ветерок душистого «Шипра».

УРОКИ ПРОИЗНОШЕНИЯ

Я борюсь за правильное произношение русских слов у смоленской крестьянки Ларичевой Акулины Филипповны. Многие слова няня произносит неверно. Это вызывает у меня и смех, и досаду. Как-никак она живет в Москве, в центре. Кремль из окошка видно. Радио весь день работает. Она его слушает, а говорит неправильно. Я пытаюсь ее переучить.

– Скажи: Филипп.

– Хвилип.

– Не «Хвилип», а Филипп, Филипповна.

– Хвилипьевна.

– Да не «Хви», а Фи.

– На старости лет не перевучишься, хоть кажиден поуторяй. Уж как с малолетства привыкла. Это ты, дите, вучись, светлым будешь. А я – темная, что говорить? Мне скоро помирать пора.

– Другое слово. Материя, – настаиваю я, не желая прерывать урок.

– Материя.

– Ну, вот видишь? Получается. Как надо произносишь. А если – время?

– Уремя.

– Не «уремя», а время.

– Усе рамно уремя.

– Притворяешься… Нарочно коверкаешь… Хоть Владимир Ильич можешь правильно произнести?

– Могу. Уладимир Ильич.

– Не «Ула», а Вла.

– Да по мне хоть как, – няня начинает терять терпение.

– Давай еще. Постарайся. Иудушка Троцкий.

– Троцкий… Ивудушка…

– Так… А ренегат Кауцкий?

– Какой?

– Кауцкий.

– Ренегад кавуцкий, – говорит няня, понимая, наверное, так, что есть какой-то город Кауцк, вроде Курска, а при нем состоит нехороший «кауцкий ренегад».

– Теперь такое слово… Пространство, – иду я дальше, постепенно подводя ученицу к самому заветному.

– Пространство, – произносит няня на удивление чисто.

– Отлично! А говоришь – не умеешь.

– Подготовительное слово: клизма.

– Хы… Чего удумал… Клизма… Ну, хватить!

– Как это «хватить»? Теперь самое главное. Где у нас книжный магазин?

– На Милостроиской.

– Так, на Метростроевской. Представь, что ты туда пришла по папиной просьбе и спрашиваешь продавца: «Скажите, пожалуйста, нет ли у вас «Материализма и эмпириокритицизма»?

– Чего ишшо? – переспрашивает няня, грозно морща брови.

– Повтори: «Материализма и эмпириокритицизма».

– Опять рикошетничать?

– Ну, что тебе – трудно?..

– Отстань! Навыдумляли, а народ язык ломай?

– Один разочек…

– Нет!

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

1

Боже мой, как я любил бегать! Ходьбы, даже валкой утиной поступью спортивного ходока, мне ничуть не хватало. Тем более невозможно, томительно, невыносимо было чинно передвигаться по коридору, важно спускаться по ступеням, степенно топтать дорожки сквера.

Нет! Вихрем промчаться до прихожей; широкими прыжками, едва не срывая перила на поворотах, слететь вниз по лестнице, с размаха, как по льду, проскользить по шлифованным – в «шашечку» – плиткам вестибюля, хлопнуть звонкой, парадной – на гулко отозвавшейся пружине – дверью, сигануть через Курсовой переулок; вдруг замереть у первых тополей и – опрометью кинуться навстречу Сережке, выбегающему к тебе с противоположной стороны сквера…

Но разве это бег? Что вы… Это лишь предвосхищение бега, легкая разминка. Главное только начинается.

– Побежали?

– Побежали!

И носимся, шныряя мимо скамеек, подрыскиваем под ветки, уворачиваемся, салим друг друга.

Плюхнулись на лавку. Передышка. В полвздоха, в четвертьвздоха. И вновь – бесконечная, беспорядочно-упоительная беготня, вдохновенная гоньба, не желающая знать ни причин, ни целей – дурацкое со стороны, а ведь самое что ни на есть настоящее – потому что безотчетное – счастье: счастье владеть своим телом, пространством вокруг себя, ощущать биение ветра, восторженно кружиться вперемежку с падающими листьями на засыпанных осенних газонах…

Не отстать от «пикапа», бесшумно, с выключенным мотором, скатывающегося под горку по Обыденскому переулку. Оставить позади щенка, так же бурно, как ты, кувыркающегося в сухой и хрупко потрескивающей листве. Догнать велосипедиста. Перегнать самокат.

О, как это много – просто бежать, чувствуя кровь, учащенно стучащую в висках, пуская в ход тоскующие по напряжению бега крепнущие мускулы, переводя заходящееся дыхание! Упасть на газон, прижухнуть, прижаться лопатками к холодной, вылинявшей земле, поймать над собой неподвижное облако, удерживать его взглядом миг, другой, – вскочить на ноги и опять горячо, пока не остыл:

– Побежали?

– Бежим!

Куда? Зачем? Кто нас зовет, окликает, гонит? Никто. Ни за чем. Никуда. А просто *по-бе-жа-ли,* ибо бег есть жизнь, а жизнь еще не спрашивает нас, куда она и зачем.

Набегались. Устали. Присели на корточки отдышаться. А теперь – спокойно поскакали.

Цок-цок, цок-цок…

Я – на Россинанте, Сережка – на Сером. Мой конь высок и тощ, Сережкин ослик толст, мохнат, приземист.

Цок-цок, цок-цок…

У меня длинная ветка – копье. У Санчо короткие сучки-пистолеты. Я подбрасываю копье и на скаку ловлю его в воздухе, а Санчо, мой друг, пыхает из стволов, салютуя моим удачным маневрам.

Вот прогуливается по дорожке заслуженный артист республики Михаил Названов. Это его сочный густой баритон пропел вчера по радио куплеты дон Кихота:

На турнире, на пиру и на охоте…

– Ваша милость, сеньор дон Кихот!..

Мы приостанавливаемся, привстав в стременах, а Названов с грацией старого гранда раскланивается с нами по-испански, замысловато и плавно манипулируя воображаемой шляпой. О, мы еще ничуть не достойны того, чтобы перед нами снимали шляпу, но этот жест, словно обязывая к чему-то, запомнится на всю жизнь!

Домой я приношу подобранное на траве воронье перышко.

– Это что такое? – спрашивает мама. – Откуда ты взял?

Отвечаю:

– Это перо от шляпы славного идальго дон Кихота Ламанчского!

– Выкинь, и ничего с земли не поднимай. Там собаки бегают.

– Я еще хочу погулять…

– Опять, дите, утекаешь? Усе б тебе бегать. Полный день туды-сюды, туды-сюды, как вертено, пра слово! – вступает няня. – Завтрева ишшо набегаисси, ай, дня не будить?.. Несмысленый, – говорит она маме, точно извиняя меня.

– *Несмысленый,* – улыбаясь, повторяет папа давно понравившееся ему словечко.

– Скоро в школу, а все *несмысленый,* – отклоняет нянино оправдание мама.

А я и сам не знаю, *смысленый* я или нет, только ложусь спать с единственной мечтой: завтра снова можно будет *бегать!*

2

Постепенно бесцельная беготня сменяется более осмысленным приложением сил. Бег превращается в спорт, в соревнование.

Я предлагаю Сережке бегать не просто так, а по дистанции, наперегонки. Мы отмериваем расстояние под названием «стометровка», хотя на самом деле в ней метров

тридцать. Протягиваем между деревьями тоненькую «финишную ленточку» – серую бечевку в лохмушках с тугими узелками, которые нам лень развязывать.

Привлеченный нашей возней к нам подходит Женька Фельдман по прозвищу «Фриц». Он неуклюж, медлителен, рыжеват. До школы Женька учил немецкий в «группе» на Гоголевском бульваре под присмотром собственной тетки «фрау Фельдман». «Группа» представляла собой несколько детей и «фрау», которая гуляла с ними по бульвару, преподнося азы немецкой речи. Вот уж где нельзя было побегать, так это в «группе»! Там можно было только чинно переступать с ноги на ногу или сидеть возле «фрау» на скамейке, повторяя хором: «Айн, цвай, драй…» Мешковатый, упитанный, Фриц идеально подходил для этих занятий, но его тянуло к нам, а перечисленные качества, никуда не годные для бега, он компенсировал природной выносливостью и волей к победе.

– Вы чего тут? – интересуется он.

– Спринтерский бег. *Ферштейн? – Понимаешь?* – говорит Сережка.

– *Ферштейн.* А меня возьмете?

– Давай.

Я черчу каблуком стартовую линию. Фриц обстоятельно закатывает рукава школьной гимнастерки. Мы встаем в ряд.

– На старт… – командую я.

Все пригнулись.

– Внимание…

Все подраспрямились.

– Марш!

Похоже, в последний момент Меркурий успел прикрепить к моим щиколоткам маленькие пушистые крылышки, а фортуна – набросить на плечи, как легкий венок, эпитет «*счастливый*»!

«Финишная ленточка» лежит у меня на груди. Я так и хожу с ней, выпятив грудь, как штангист, чтобы бечевка – вещественное доказательство моей победы – не упала, пока за мной финиширует Сережка, пока, размахивая полуголыми руками, дотрушивает до финиша зазевавшийся на старте Фриц, пока мы готовимся ко второму забегу.

– Это был четвертьфинал, – говорю я. – А теперь – полуфинал!

Предложение нравится. У Фрица появляется призрачный шанс взять реванш.

А я вспоминаю, что до войны папа занимался легкой атлетикой в секции у известного спартаковского тренера Стеблева. Папа был спринтером и прыгуном в длину.

Особенно удавался ему тройной прыжок. Здесь он приближался к чемпиону среди юношей по фамилии Замбримборц. Само трудно выговариваемое, трижды акцентируемое трехсложье фамилии воспринималось мной как жесткий тройной прыжок. Разбег, толчок правой, – *Зам,* – полет, толчок левой, – *брим,* – полет, толчок правой, – *борц: Зам – брим – борц!* Тройной прыжок произношения. Полное триединство имени и жеста.

Однако папа подавал надежды и без таких совпадений со своей двухсложной фамилией. Самые лихие трамвайные догонялы и катальщики на «колбасе» угадывали что-то неладное, когда он неторопливо шагал по Богословскому переулку, возвращаясь с тренировки. Видимо, они кожей чувствовали, что если он побежит, то они не угонятся за ним ни так, ни на трамвае. Чтó их прокуренные «дыхалки» и криво загребающие «костыли» по сравнению с его ритмичным дыханием, классической техникой бега, ударной пружиной прыжка, усвоенного у самого Стеблева! Однако папин спортивный взлет оборвался внезапно и тихо. Перед войной тренера арестовали. Он пропал. Секцию закрыли.

И вот мне захотелось представить себя на довоенном стадионе «Динамо» перед заполненными трибунами…

Мы снова выстраиваемся на старте.

– Ребя, давай я скомандую! – просит Фриц, становясь между мной и Сережкой.

– Пожалуйста. Ты думаешь, что побеждает тот, кто командует? Попробуй.

– Ма-арш! – утробно хрипит Фриц и, растопырив руки, чтобы не пропустить нас, кидается к финишу. Уповая на свои габариты, он пытается загородить нам дорогу телом. Но габаритов не хватает и телу приходится вилять, удлиняя путь и напрасно тратя силы. Мы без труда с двух сторон обходим «растопыру» и заканчиваем бег в том же порядке, что и в первый раз.

– Финал… Теперь финал… – толком не отдышавшись, требует Фриц.

Хорошо. Пусть будет финал.

3

Тоненькая иголочка едва заметно движется в просвете между облаками. Наверно, Москву-реку ей не пересечь никогда – так тягуч ее полет.

– Я хочу быть летчиком, – говорит Женька. – У меня батя на войне летчиком был.

– А я хочу быть десантником.

– А я – зенитчиком, – добавляет Сережка.

– Смотри, меня не сбей! – предупреждает пилот.

– Я по своим не бью, – успокаивает его артиллерист. – Тебя домой зовут, – говорит он мне.

Я поворачиваюсь к дому и вижу в нашем окне на втором этаже первомайский флажок – условный знак. Раньше мама или няня звали меня вслух. Это было скверно. Особенно если они выпевали мое имя уменьшительно ласкательно по нескольку раз. Представляете? Мы выбрасываем десант на захваченный немцами Киев, форсируем Днепр, штурмуем фашистские доты, и вдруг в самый разгар боя из форточки доносится:

– А-ле-шень-ка, ку-у-шать…

Однажды я не выдержал этого безобразия и потребовал, чтобы меня перестали выкликать. И тогда мама придумала флажок. Красный с золотым кантиком, он празднично-ярко и, главное, совершенно бесшумно появлялся в форточке. Мне оставалось только время от времени поглядывать на нее, что я и делал, а если забывал, то кто-нибудь из ребят обязательно напоминал мне. Все были в курсе дела, и всех такой выход из положения устраивал.

– По машинам! – приказывает Фриц. – Задраить «фонари»!

Мы захлопываем над собой воображаемые стеклянные колпаки истребителей-бомбардировщиков. Строимся треугольником. Впереди – Фриц.

– Звено к боевому вылету готово! – докладывает Сережка.

– Взлет! – разрешает командир и со страшным завыванием, скосив руки назад наподобие крыльев, мы со всех ног взмываем в небо, то есть мчимся по скверу, лавируя между тополями и скамейками, проносясь в узкую прорезь среди железных гаражей, демонстрируя изумительную маневренность нашей авиации.

Как бомбой, ударом пятки Сережка припечатывает к земле пустую пачку «Беломора». Я пулеметной очередью поднимаю в воздух стаю воробьев, а Фриц бухает и бухает по ним из пушки. Воробьи с перепуганным чириканьем носятся над сквером.

Внезапно Женькин самолет загорается. Командир пробует погасить пламя, ныряя то вверх, то вниз. Он катается по палой листве, но огонь уже подобрался к бакам с горючим и наш боевой друг Женька Фельдман взрывается, окутываясь ворохом листьев, засыпая ими себя с головы до ног…

Разворачиваясь, мы с Сережкой траурно кружим над застывшим перед домом Перцова холмиком, по разу, прощаясь с погибшим, касаемся крылами пожухлой, бурой листвы и, тихо взмывая, разлетаемся по домам.

– Ребята! – кричит нам вдогонку Фриц, выбираясь из-под листьев. – Завтра выходите. Доиграем.

– Выйдем… – отвечаю я и по широкой дуге, как сухой листок, планирую в парадное.

4

Обычно папа уходил на работу часов в девять. Он читал лекции слушателям Военно-юридической академии. Днем обедал дома и *минут на девяносто* ложился отдохнуть. Он любил спать под мягким байковым халатом, укрывшись с головой, чтобы никто не мешал. Только ноги высовывались. Потом папа уезжал по делам до вечера, а, вернувшись, просиживал над конспектами глубоко за полночь. В свободное время он читал, со мной же занимался редко и редко куда ходил.

Как-то в будний день после обеда вместо того, чтобы привычно поднырнуть под халат, папа предложил:

– Поехали на стадион «Динамо»?

– А что там? – отозвался я, слегка оторопев.

– Легкая атлетика. Победители отправятся на Олимпийские игры в Мельбурн.

Легкая атлетика?.. Я ведь ее обожал! Начиная с самого смысла слов. *Атлетика* – это что-то мощное, а *легкая* – наоборот, нечто почти невесомое. То есть *невесомая мощь* – вот что такое *легкая атлетика!* Не разбираясь в фигурах речи, я чувствовал, однако, как внутреннее прекословие, смешение понятий придает целому некую загадочную гармонию и объемность. Тяжелая атлетика такой всеохватностью не обладала. По сути, это было масло масляное, удвоение близкого. *Сила* дополнялась *тяжестью.* Это – не фокус. А вот *невесомая мощь* – совсем другое дело.

Что же касалось Олимпийских игр в Мельбурне, то они представлялись мне чем-то совершенно сказочным, вообще недоступным воображению…

Трибуны стадиона «Динамо» густо темнели скоплениями зрителей, хотя за футбольными воротами и зияли заметные просветы. Все-таки привлекательность легкой атлетики не шла в сравнение с популярностью футбола. Мы пробились на места поближе к финишу и устроились напротив сектора для прыжков с шестом.

– Самое интересное – спринт! – сказал папа, азартно блеснув дужками очков.

– На старт вызываются участники забега на десять тысяч метров, – объявил диктор.

– Ну-у… Это они минут сорок будут трусить мелкой рысцой, – разочарованно протянул папа.

Мне же было интересно все: и спринт, и прыжки, и десять тысяч метров.

Большая группа бегунов столпилась на старте, чтобы по приглушенному расстоянием хлопку судейского пистолета, действительно, затрусить мелкой рысцой, едва не наступая друг другу на пятки.

Папа перевел взгляд в сторону сектора для прыжков и снова оживился. Его внимание привлек прыгун из команды Москвы. Ладную фигуру прыгуна облегал красивый тренировочный костюм из тонкого трикотажа. Шестовик похаживал перед трибунами, картинно разминаясь: то приседал, то делал маховые движения, то коротко разбегался, подкидывая колени. Выяснилось, что этот красавчик в одиночку борется с высотой три девяносто, которую остальные участники преодолели с первой попытки, и теперь ждали его. На трибунах он получил прозвище «*Трикотаж*» за эффектность костюма при девичьей скромности результатов.

Аккуратно стянув с себя «треники», он остался в ослепительно шелковых майке и трусах, сияя, по слову папы, *как новый пятиалтынный!*

Тряхнув шестом, *Трикотаж* побежал с ним, точно с копьем наперевес, быстрей-быстрей-быстрей, оттолкнулся, взлетел, выгнув свою бамбуковую опору, перемахнул через планку и победно рухнул в кучу с песком.

Трибуны великодушно зааплодировали. А он выбрался из кучи, проветривая сыпавшийся по нему отовсюду песок, и гоголем продефилировал перед нами, как будто уже выиграл соревнования, получив путевку в Мельбурн.

Столь же тщательно, как и прежде, *Трикотаж* закатал в руку парчинку тренировочных штанов и бережно натянул ее на ногу. Так модница перед зеркалом вдевает ножку в собранную в горсть паутинку чулка, одним движением распрямляет колено, и вот уже поглаживает голень, взыскательно проверяя симметричность пятки и шва.

Папа был в восторге. Этот персонаж определенно вознаграждал его за наше опоздание на спринт.

Между тем стайеры уже преодолели добрую часть пути. Бег стал каким-то рваным, путаным. Плотная стартовая группа сильно поредела и растянулась по кругу. Но, главное, ее постоянно дергал щупленький белобрысый бегун из команды Белоруссии. Почему-то запомнилась именно Белоруссия, хотя позже я читал, что он – москвич. Может быть, стал москвичом? То он безнадежно отставал, то, проникая в зазоры между бегущими, упорно добирался до лидеров, то снова сникал и понуро плелся в хвосте. Такая самодеятельность обеспечила ему на трибунах кличку «*Партизан*». Лидеры – три-четыре бегуна –

регулярные призеры последних лет держались цепкой стайкой, никого вперед не пропускали, но чувствовалось, что *Партизан* действует им на нервы. Серьезной опасности для них он, конечно, не представлял, однако напряжение создавал и симпатии зрителей зарабатывал. За безуспешность попыток «выйти в люди», за напрасное мыканье взад-вперед по дистанции он заслужил второе прозвище: «*Горемыка*».

Тем не менее, по примеру *Горемыки* и некоторые другие «середнячки» стали «партизанить», правда, хватало их ненадолго. И все же в заранее расчисленный ход бега с явными фаворитами и предопределенным результатом был внесен такой притягательный момент неясности, что от сектора для прыжков внимание публики переместилось на гаревые дорожки к самому утомительному, к самому, как думалось, неинтересному зрелищу.

Шутливое «*Партизан*» и неприкаянное «*Горемыка*» обогатилось третьим поименованием: «*Хлопчик*». И после очередного рейда, смявшего стройные ряды лидеров, трибуны возбужденно зашумели:

– Во *Партизан* дает!..

– *Горемыка*, жми на всю катушку!

– Ну, *Хлопчик*, молоток!

Лидеры тревожно оборачивались, видели, как в кино, – во весь экран, – наседавшего на них *Хлопчика* и невольно убыстряли бег раньше времени, что вовсе не входило в их планы.

Когда в очередной раз они, тяжко дыша, пробегали под нами свой будущий и не такой уж отдаленный финиш, я снова взглянул на прыгунов.

Кузнечик за кузнечиком пружинисто и ловко выстреливали они над планкой, установленной на рубеже четырех метров. Иногда планка падала, и зрители шумно вздыхали. Вообще, трибуны поразили меня своей единодушной и мгновенной реакцией на происходившее, тем более удивительной, что это участие рождалось одновременно в тысячах сердец, тут же обнаруживаясь общим сожалением, смехом, разочарованием, радостью.

Что касается прыгуна по прозвищу «*Трикотаж*», то высоту в четыре метра он решил пропустить как слишком для себя смешную. Казалось, Мельбурн уже лежит у него в кармане, а потому *Трикотаж* позволил себе расслабиться на скамейке, вытянув ноги и приобняв хорошенькую массажистку. Он что-то внушал ей, а она похохатывала, уклоняясь от его объятий: слишком уж они были прилюдны. Глядя на то, с каким снисхождением относится *Трикотаж* к соперникам, в поте лица добывавшим свои четыре

метра, можно было подумать, что перед вами – асс, повалявший дурака на трех девяносто и готовящийся к настоящей высоте, то есть к четырем десяти, что по тем временам считалось уже очень приличным – шесты-то были бамбуковыми…

Судьи осторожно подняли планку на двух длинных рогульках, установили на уровне четыре десять и столь же деликатно вынесли рогульки из-под планки, чтобы ее не потревожить.

Трикотажу пришлось расстаться с массажисткой, выпустив ее из-под крыла. На прощанье она его славно помяла – растянувшегося на скамейке, потормошила «засидевшуюся» мускулатуру и улизнула под трибуны.

Не оставляя прежней старательности, «фаворит» проделал все положенные манипуляции с раздеванием, переливаясь шелками, понаклонялся, повертел кистями, потряс икрами и вооружился шестом. Он олицетворял собой смычку легкой атлетики с легкой промышленностью. Промышленность была на высоте. Теперь слово предоставлялось атлетике.

В этот момент ударил гонг. Удар означал, что «десятитысячники» пошли последний круг. До гонга *Партизан* еле волочил ноги где-то в конце. Видно, он сам умотал себя своими рейдами. Но гонг словно привел его в чувство.

Все бежавшие перед *Горемыкой* плотно прижимались к бровке, поэтому обходить их можно было только с внешней стороны, удлиняя дистанцию. Каждый из середнячков и сам был бы рад выбиться в лидеры, но сил на это ни у кого уже не хватало. И только *Хлопчик* стал обгонять одного бегуна за другим, но не рваными, изматывающими рывками, как прежде, а регулярным наращиванием темпа.

– Смотри на белобрысика – что он делает! – взволнованно сказал папа. – Так он еще всех обставит…

Трибуны зашумели уже не на шутку. Кое-кто начал приподниматься. По воздуху прошло подобие электрического шелеста.

А пока на дорожках зрел финал героической драмы, в секторе для прыжков поспевала развязка комедии ситуаций. *Трикотаж* готовился к прыжку. Он поплевал в ладони, словно приговаривая: «Чур, чур, чур!..» Глубоко вздохнул, оставил рот округло-открытым, как будто вобрал в него невидимое яблоко, и вертлявой, танцующей побежкой устремился к планке.

Тем временем стайеры разыграли последний поворот и мчались по финишной прямой под оглушительный рев стадиона. *Партизан-Горемыка* продолжал свой последний рейд. *Хлопчик* завершал финишный спурт. Когда никаких явных сил уже не

осталось, он обрел *второе дыхание* – дыхание сил подспудных, копившихся в нем незримо ото всех, может быть, даже от него самого. В том, что он обгонит лидеров, не было сомнений. Вопрос состоял только в одном: успеет ли он сделать это до финиша, хватит ли ему дистанции, не окажутся ли десять тысяч метров чуть-чуть коротковатыми для него…

Прыжок *Трикотажа* и финиш *Хлопчика* произошли одновременно, совпали до секунды. Стадион ответил на них двумя синхронными взрывами: ликования и хохота. В тот самый миг, когда *Хлопчик,* на полшага опередив двух чемпионов, вынес на груди финишную ленточку, самозванец *Трикотаж* с блеском пролетел *под* планкой!

Выбравшись из песка, он, прихрамывая и делая вид, что оступился, побрел к своим одиноким штанам на скамейке, присел и неожиданно резко въехал в них двумя ногами сразу.

Мельбурн выпал из кармана, а *Хлопчик* перешел на трусцу вдоль трибун под овацию стадиона, в которой тонул голос диктора:

– Победителем забега на десять тысяч метров стал Владимир Куц!

– Все. Теперь его никто не остановит! – сказал папа, и вместе со всеми мы втиснулись в узкий выход.

5

Когда Сережка и Фриц появились на сквере, я поджидал их с рассказом о поездке на стадион «Динамо» и новым предложением. По примеру Владимира Куца мне захотелось испытать силы на стайерской дистанции.

– Сегодня бежим десять кругов вокруг сквера, – сказал я.

Сережка присвистнул, а Фриц принялся молча и деловито закатывать рукава гимнастерки.

Конечно, в наших десяти кругах было максимум километра полтора, но по сравнению с тридцатью метрами спринта – все равно внушительно.

– А добежим? – спросил у меня Сережка, но ответил ему Фриц:

– Добежим!

Я снова прочертил каблуком старт. Ничего толком о своей выносливости я не знал. Не знал, что люди делятся на «спринтеров» и «стайеров». Одни настроены на короткие рывки, другие – на неторопливый долгий бег. Как в спорте, так и в жизни.

Два круга я лидировал, а потом почувствовал, что дыхание пошаливает, рот сохнет, стартовой бодрости – как не бывало, хочется сменить обстановку…

Сережка держался за мной, а Фриц поотстал, но не сильно, поскольку темп вообще был невысок.

Третий круг мы преодолели с Сергеем шаг в шаг, стопа в стопу, как братья Знаменские, а на четвертом круге у меня образовалась негаданная болельщица.

Домой из булочной по Соймоновскому проезду *верталась Хвилипъевна.* Она присела на лавочку *чуточки спыхнуть,* а заодно посмотреть, *чаво ён, коновод-то наш, навыдумлял? Куды бежить, сломя голову*?

Но болельщицей она оказалась липовой. Няня болела вовсе не за то, чтобы я победил, а за то, чтобы не устал. Увидев пробегавшего мимо ее скамейки *коновода* – бледного, с учащенным дыханием, с каплями пота на лбу, няня потребовала:

– Ребяты, хватить! Ишь как увесь узмок шшибленок… Чичас кончайте! Али хворостину узять – непослушника попужать?.. Пошли домой. Я хлебушка купила горяченького, так и дышить… Ай, не слышишь?.. Зехвирчику… Скоро вужинать…

Мы начали следующий круг, не обращая внимания на Филипповну, на ее *пужание* и ласку – *хворостину и зехвирчик,* – но к моей усталости добавилась еще и досада: опять я становился маленьким, опять игра разрушалась, ведь именно играя, я чувствовал себя взрослым, сейчас – Владимиром Куцем, – а без игры снова превращался в себя самого. Игра не только взрослила, преображала меня – она изменяла мир вокруг: сквер становился стадионом «Динамо», скамейки – трибунами, няня – болельщицей… Правда, роль свою она играла неправильно, недостоверно. Разве бывают такие болельщики, которые не подбадривают бегуна, а, наоборот, уговаривают его сойти с дистанции, суля то хворостину, то зефир?

Между тем няня *спыхнула* и поднялась со скамейки.

– Я те что говорю? Нет, вы тольки гляньте на него, тольки гляньте!.. Уся рубашка на ем мокрая, хоть выжми. Стой, мать честнáя!

– Может, кончим? – обгоняя меня, спросил Сережка из уважения к Филипповне.

– Нет, – ответил я из уважения к спорту.

Но это была полуправда. Спорт интересовал меня не сам по себе, а как момент игры, создающей другой мир. На самом деле я так устал, что с удовольствием бы закончил забег до срока, однако мне не хотелось прекращать игру, а ведь она полностью зависела от продолжения бега. Прервись он, прервется и она, трибуны стадиона обратятся в грубо окрашенные лавки, гаревые дорожки завязнут клеклой осенней глиной, футбольное поле объявится будничным прелым газоном, и Владимир Куц поплетется домой вслед за няней – на красный первомайский флажок, мелькнувший в форточке…

И все же Филипповна вмешалась как нельзя более кстати. Я понимал, что проиграю забег, что никаких подспудных сил у меня нет. Внешняя помеха (Филипповна) могла удачно замаскировать истинную причину моего поражения (не хватило дыхания). Бег прерван – я не виноват. Но ведь это – хитрость. Нехорошо. Пока побеждал, бежал, а как стал отставать, так в кусты?.. Что мне дороже: игра или победа? Если игра, то надо бежать дальше. Если победа, точнее, уход от поражения, то самое время остановиться.

Мучимый выбором, я обнаружил перед собой уже и потемневшую толстую спину Фрица. Ноги отяжелели, в боку покалывало, а спасительное *второе дыхание* все никак не приходило.

Няня потеряла терпение и загородила мне путь. Я обежал ее сбоку. Она *заколтыхала* следом с авоськой, в которой болталась густо усыпанная золотыми зернышками тмина буханка «Бородинского», любимый папин батон за 2.45 и пухлый бумажный пакет, наверное, с обещанным зефиром.

– Стой! Споддыхни. Рази мыслимо так убиваться? Стой, тебе говорю! Как сердце выпрыгнить, что я маме скажу? Прекращай, несмысленый!..

И силы меня покинули. Нянина любовь ко мне победила мою любовь к спорту. Сердце колотилось. Рот высох. Грудь жгла какая-то отвратительная горечь. Слюна до того загустела, что повисла нервущейся ниткой, никак не перекусываясь. Покорный судьбе, позаброшенно и тихо лег я на лавку, как бездомный.

– Птушенька, птушенька, – подбежала няня.

– Я не птушенька… – отозвался я бессильно.

– Уставай с лавки. Не лежи. Нельзя лежать! Сердце выскочить. Походить надо.

Я поднялся.

Глядя на меня, прекратил бег и Сережка. Только упорный Фриц, дыша, как броненосец, в полном одиночестве заканчивал дистанцию.

– Это у нас четвертьфинал? – спросил Женька, разгоряченный бегом и победой.

– Какой ишшо четверть хвинал? – насторожилась Филипповна. – Етто у вас усе. Боля ничаво не будить!

6

Прошли Октябрьские праздники. Отгрохотал парад, отшумела демонстрация. В вечернем небе над Москвой рассыпались павлиньи перья салюта. Но приподнятое настроение оставалось: 23 ноября в Мельбурне открывались XVI летние Олимпийские игры!

Необычен и весел был этот возврат лета в предзимнюю Москву. Наши спортсмены прекрасно выступили прошлой зимой в Кортина-д'Ампеццо, и ожидание новой победы витало в воздухе. Оно приняло государственный оборот.

В августе Политбюро ЦК, еще не успевшее расколоться на «партийную» и «антипартийную» группы, в полном составе присутствовало на открытии стадиона в Лужниках. Ему присвоили имя Ленина. Это означало, что спорт в нашей стране получает политический статус.

Дело прыжка и метания, штанги и бревна возглавили ответственные товарищи «из комитетов и ведомств». Лозунг: «Слава советскому спорту!» следовал в одном ряду с лозунгами: «Слава КПСС!» и «СССР – оплот мира, демократии и социализма».

Спортивные репортажи не сходили со страниц газет. Комментаторы Вадим Синявский и Николай Озеров по полтора эфирных часа от всей души озвучивали футбольные матчи команд класса «А», подробно говорили об игре дублирующих составов, не забывали упомянуть и о ситуации в классе «Б».

Сияние кинозвезд меркло рядом с блеском титулованных участников Олимпийской сборной. Всесоюзный рекорд приносил человеку, прежде никому не известному, всесоюзную популярность, а мировой рекорд – мировую.

Регулярно, как сводки с театра военных действий, публиковались последние данные о результатах пловцов, велосипедистов, легкоатлетов. Пространство линовалось на сантиметры. Время делилось на доли секунд. Физика торжествовала над философией, физкультура – над физикой, спорт – над физкультурой. Мячи, заброшенные в баскетбольные корзины, чередовались с мячами, побывавшими в сетках футбольных ворот. Сбылась мечта миллионов: Стрельцов играл в одной команде с Яшиным, и эта команда называлась *непобедимой сборной СССР*!

К Мельбурну готовились, как к взятию Берлина. Всей страной. Проверялся спортинвентарь. Шились костюмы для участников штурма. Мобилизовывались политработники, диетологи, массажисты…

В честь олимпийцев был устроен прием в Кремле. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев отдавал последние приказы боксерам, фехтовальщикам и стрелкам из лука.

Пожалуй, это был уже не спорт и даже не игра, а реальность, вполне серьезная при всей ее видимой маскарадности, и, признаюсь, эта реальность меня восхищала.

Наконец, огненная чаша вспыхнула над Мельбурном. Все олимпийские дни я молился на наш радиоприемничек с белой пластмассовой чайкой, которую мне всегда

хотелось отколупнуть от материи, обтянувшей громкоговоритель. Но чайка была пришкварена намертво. Расписания Игр я не знал. Просто случайно попадал на то, на что попадалось. Однажды, примчавшись из школы, я бросил портфель мимо стула и припал к «Чайке».

Няня накрывала на стол. Сквозь хрипы и потрескиванье эфира до меня донесся прерывающийся от помех и волнения голос Николая Озерова:

– Внимание… Говорит Мельбурн. …рит Мельбурн. Начинаем наш очередной …таж с XVI летних Олим…ских игр. Сегодня разыгрываются …тые медали в беге на десять тысяч метров. Весь спортивный мир с захват… ресом следит за дуэлью двух феномен… …гунов: англичанина Гордона Пири и нашего Владимира …уца. Пройдена …ловина дистанции. Как складывается забег? Со старта его …зглавил …адимир Куц. За ним неотступно, как тень, …овал Пири. Они …орвались от …ной группы. Пири просто …шал Куцу в затылок. Казалось волосы …шатся на голове у нашего …смена. Куц дважды предлагал …глича… …главить забег, уступая ему бровку и даже делая жест рукой. Но Пири не …мал пред…жения. Сейчас впереди совет… …смен. Пири сидит у него буквально на пятках…

Пришел из академии папа и сразу, с порога:

– Ну, как? Какие новости в Мельбурне?

– Десять тысяч! Куц впереди! – выкрикнул я, боясь упустить хоть словечко из Австралии.

– А Пири?

– Да, говорять, на пятках сидить етот Пырин у нашего-то… Или как его там? – пояснила Филипповна и добавила: – Однем словом – агличанин!

Няня очень уважала англичан с тех пор, как до революции повидала английских матросов в Кронштадте, куда приезжала к мужу:

– Рослые! Красивые! Смостоятельные! Справные ребяты. И одеты в аккурат.

– А обходительные? – спрашивал папа.

– Нюжли ж… Вочень обходительные!

Теперь папа, так же как и я, беспокоился о том, чтобы обходительный англичанин Гордон Пири ненароком не обошел нашего Куца.

Няня разлила щи по тарелкам, но заставить меня оторваться от приемника было невозможно.

– Неужели ты за Куца не болеешь? – спросил я няню.

– Помилуй Бог! У мене своих болестей хватаить, ишшо я тута болеть буду, перживать…

– А мне кажется, Филипповна симпатизирует Гордону Пири, – сдерживая улыбку, сказал папа. Он дул на ложку, полную горячих щей, и от его дуновения раскачивалась свисавшая с ложки капустная завитушка. Поглядывая на Филипповну, папа добавил:

– Все-таки Пири – англичанин…

– Раз ён синпатичнай, то и *пущай,* – согласилась няня. Но что значило это «*пущай*», не уточнила. Просто так *пущай* или *пущай побеждает*? Мне это было небезразлично.

А Озеров продолжал:

–У нас идет вторая полови… …анции. Ну, я вам скажу, и жара здесь в Мельбурне! Даже ночь не дает желанной… Простите… Неожиданным рывком Пири обхо… …ашего бегуна и… – и дальше, как на грех, все потонуло в помехах.

Я понял, что случилось что-то роковое. Представил себе, как английский стайер, сохранив силы за спиной Куца, внезапно обошел его и, ускоряя бег, устремился в отрыв.

Папа прекратил есть, няня же оживилась и усердно принялась подрезать «Бородинский», хотя хлеба на столе и так хватало.

Я был потрясен непатриотичностью ее поведения. Смоленская крестьянка отдавала предпочтение англичанину, даже не видя его! А считалось, что космополитизмом у нас страдает лишь часть интеллигенции. Какой же интеллигенции, когда мы с папой болеем за Куца, а Филипповна – за Пири?!

Голос Озерова снова прорвался к нам в Курсовой переулок:

– …дирует Пири, по-преж… …дирует Пири…

– *Дируить?* – почему-то беспокойно спросила няня. – Батюшки святы! И чего ж ето ён *дируить?*– Верно, она восприняла эфирный осколок от глагола *лидирует* как самостоятельное слово с непонятным и тревожным для нее смыслом.

– Не *дирует*, а *лидирует,* – подсказал я.

– Ах, *лидируваить*… Ну, слава Богу, раз так… Усе, значить, как следываить быть. Дай Бог здоровья…

– Да совсем не как *следываить!* – вскипел я. – Наш отстает…

– Ну, правильно. А Пырин лидируваить. Агличанин… А я об чем тебе толкую? Об еттом же…

И все-таки слово «*лидирует*» тоже было няне не совсем ясно, пусть и не вызывало тревоги. Вкрадчиво, боясь помешать, она спросила:

– Еугений Лексеич, а етто что значить, дескать, «*лидируваить*»?

– Значит, первый бежит. Впереди всех. Это – английское слово.

– Так-так… А́глицкое, не наше, – закивала головой няня. – Вот я потому и не слыхала, что а́глицкое. Не забыть бы. Память никудышшая стала, пра слово! *Лидируваить,* – повторила для верности Филипповна.

– А Куц, между прочим, бывший *моряк,* – заметил папа специально к няниному сведению.

– А Пырин быдто нет? – спросила она с некоторой опаской.

– А «Пырин» – *сухопутный,* – отозвался папа весело.

Его расчет оказался тонким. Филипповне нравились английские *матросы,* то есть для того чтобы поразить нянино воображение, человек должен был быть одновременно и англичанином, и моряком. В Кронштадте это совпало, а в Мельбурне – нет. Англичанин оказался *сухопутным,* а наш – *матросом.* За кого болеть? Что выбрать? Времени на раздумье не оставалось уже *ничуточки.*

– Впереди два круга, всего два круга, – снова пробилась к нам Австралия. – Друзья, здесь на стадионе такой шум… не знаю, слышите ли вы меня, но Владимир Куц, кажется, обрел второе дыхание и начинает свой финишный спурт…

Папа встал и подошел к приемнику. Няня заторопилась на кухню посмотреть: «Макароны не сгорели? Канпот узять и быстрей назад!» А в «Чайке» трещал, шипел и вздрагивал Мельбурн, глотая слоги, запинаясь на своей спотыкучей связи.

Я болел за Куца. Как я болел за Куца!

– …и вот он …ходит Пири по внешней …тороне и, …ращивая ско… …ремляется вперед! Тут на трибунах …рится что-то невообразимое. Уже шляпы, шляпы полетели вверх! Пири отстает …ствуется, что он устал. Его догоняет основная группа, а расстояние между ней и …димиром Куцем все …личивается и уве… Последние сто метров…

Каждый преодолевает дистанцию длиной в жизнь, но в отличие от спорта никто заранее не знает этой длины: сколько ему бежать? «Стометровку» – и потому следует выкладываться сразу, или километры пути – и потому лучше до времени поберечь силы? Но уж если бег продолжается, если сохнет во рту, горько жжет в груди, прерывается вдох, – потерпи, не отчаивайся, собери силы, у тебя есть надежда! Она невелика, но стойких духом она не обманет. И вдруг ты ощутишь, что бежать становится легче… Легче? Легче! Сушь и жжение проходят. Вдох и выдох делаются ритмичней. Угасшие силы возвращаются в избытке, и теперь ты хорошо знаешь, как ими распорядиться. Это пришло твое спасение – *второе дыхание,* – то, которого никто не подозревал в тебе, и люди вокруг с удивлением встают со своих мест, приподнимая воображаемые шляпы.

– …Да, последние сто метров. Стадион просто неистовству… …щее ликование. Так полюбился зрите… …аш моряк. Здесь все его знают, узнают на улицах, приветств… Куц бежит один. Его не может уже догнать никто. Фи-и-ниш! Победа! Владимир Куц – чем… … пийских игр!

Папа радостно потер руки:

– Эх, жаль выпить нечего!

Вошла Филипповна с макаронами *по-хлотски* и *канпотом.*

– Куц – чемпион! – выпалил я.

– Ну, и слава Богу, – неожиданно легко приняла это известие няня. – Агличанин так агличанин, наш так наш. Что есь, то и есь. Ешь шши, чай, уж чуть теплыи…

ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

1

На месте дома, разрушенного немецким фугасом, того самого, что стоял между нашим в Курсовом переулке и церковью Ильи Обыденного, был разбит сквер. Так и говорили: «*Разбит сквер*», хотя, по своему детскому разумению, я считал, что разбит дом, а сквер как раз создан: перекопаны и засеяны будущие газоны с табличками: «Прохода нет!», расставлены тяжеленные, чтобы не унесли, ребристые скамейки, посажены тонкие тополь ки, привязанные морским узлом к ошкуренным колам, а в центре сквера сооружена высокая клумба с цветами.

И тогда появился сторож. Мы прозвали его «*дедом*». Он ходил в голубой летчицкой фуражке с кокардой, в каких-то сплющенных ватных портках, заправленных в сапоги на манер галифе, и посасывал желтый от никотина мундштук. В очередной раз выбив из него догоревший чинарик, сторож резко продувал мундштук, а тот в ответ тонко свистел. Но самое главное – дед был вооружен. Никогда не расставался он с крепкой палкой, наконечником которой служил мощный граненый гвоздь. Я удивлялся, как это деду удалось загнать такой гвоздище шляпкой в палку, чтобы острие торчало наружу? Осенью, бродя по скверу, дед, как чеки, накалывал на гвоздь опавшие листья и стряхивал их в жестяную урну. При этом он каждый раз заглядывал внутрь урны, словно сомневался: не дырявая ли она? И убедившись, что нет, целая, сплевывал в нее с брезгливым и презрительным удовольствием.

К своему делу дед относился не просто добросовестно, а ревностно. Зимой и летом, рано утром и в вечерних сумерках обходил он вверенный его попечению участок. Если требовалось, перевязывал морские узлы, поправлял покосившиеся таблички, нанизывал на гвоздь бумажный мусор и – стерег. Больше всего досаждали ему мы, мальчишки. Лишь печальный Валека вынужденно вышагивал по дорожкам, когда мама и тетя под ручки вели его из школы, чтобы никто на него не напал. Но и Валека, гуляя после школы один (мама и тетя, сменяясь, дежурили у окна), даже Валека, погруженный, вероятно, в размышления о женской любви и постыдной опеке, с которой он ничего не мог поделать, заступал иногда за черту, дозволенную дедом, а то и склонялся в меланхолическом раздумье к цветку, чтобы его…

– Куда, куда?! – поигрывая желваками, сгущалась в воздухе невесть откуда взявшаяся охрана.

– Я понюхать, – оправдывался Валека.

– Вот я те щас понюхаю!.. – предупреждал дед, и Валеке этого предупреждения бывало вполне достаточно. Мамин всплеск в окне:

– Валечка, немедленно отойди от этого человека! – оказывался излишним.

Что же касается мальчишек, хотя бы отчасти освободившихся от строгого родительского присмотра, то они вытворяли все, что им полагалось, доводя деда до белого каления.

В отсутствие сторожа (в обед) на газоне безотлагательно затевался большой футбол. Прямо после уроков, побросав в общую кучу портфели, мы, обнявшись, разбредались парами по траве, придумывая загадки «капитанам»:

– Уругвай или Бразилия? – спрашивала первая пара.

– Уругвай, – выбирал кто-нибудь из «капитанов».

– Друг или портянка? – интересовалась вторая.

– Портянка…

Так делились на две команды. Стволы окрепших тополей изображали штанги. Особым шиком считалось забить гол от штанги в ворота… Траву не просто топтали – по ней с наслаждением катались, имитируя заслуженных мастеров симуляции и потешаясь над ними, а вратарские площадки лысели на глазах. Неподкованные в хитроумных футбольных схемах, мы полагали, что вратарь должен *рыпаться*, нападающий – забивать, а защитник – ложиться под мяч костьми, лишь бы спасти ворота. Играли обычно не на время, а до десяти голов и увлекались настолько, что появление деда начисто прозевывали.

Между тем старый конспиратор, отобедав и отдохнув, со свежими силами подкрадывался со стороны Курсового переулка, сперва пригнувшись, на *полусогнутых*, держа палку сбоку, точно в ножнах, а затем, внезапно распрямившись и размахивая ею над головой, устремлялся на нас с проворностью хорошего конника, но бесшумно. И только тогда раздавался чей-то пронзительный крик над головой:

– Дед!

Он всегда действовал в одиночку, но, сколько бы ни было нас – шесть, восемь или двенадцать школяров, – мы обращались в паническое бегство, расхватывая портфели – свои и чужие.

Вратарь метался в поисках оброненной кепки со сломанным козырьком и плоской пуговкой на макушке… Кто-то никак не мог сдернуть с веточки повешенный туда школьный китель и, подпрыгивая, жалобно стонал:

– Ребят, меня подождите… Меня подождите!..

– Дурак! Рви вешалку, – кричал ему вратарь.

– У кого мой мяч?

– Где мяч?

– Мяч спасай!

– Полундра-а-а!

Все знали, что главная цель деда – не мы, а мяч. И пусть в угаре он мог *перепаять* палкой любого (потому мы и драпали), но это было, в конце концов, не смертельно, а вот мячу каюк наступал сразу: дед прокалывал его гвоздем и, воздев над собой, с видом победителя досылал нам вдогон первые и последние проклятья. До этого момента он не издавал ни звука. Его торжество было полным, но, однако, недолгим. Через несколько дней мы добывали новый мяч.

Попривыкнув к дедовским атакам и осмелев, мы решили отработать с ним одну штуку. Замысел состоял в том, чтобы вовлечь деда в беготню по газонам, сделать его как бы своим соучастником. Теперь при вопле: «Дед!» мы с той же поспешностью растаскивали портфели, но уже не удирали сломя голову, а лишь расыпáлись с ними по траве. Когда стража врывалась на газон, прицеливаясь гвоздем в мяч, мы начинали точно перепасовываться, а дед – бегать за мячом, все более свирепея. То он пробовал остановить мяч ногой, красиво растягиваясь в полушпагате так, что трещали плоские галифе, то силился зацепить его палкой. Но техники не хватало. Дед лютовал, пока, наконец, плюнув на неподдающуюся добычу, не рассеивал нас по переулкам.

Если кто-то из взрослых и подавал голос в нашу защиту («А где им еще играть?»), то многочисленные бабуси – постоянные обитательницы насиженных ребристых скамеек дружно ополчались на защитника («За *фулюганов* заступаться?») и дед не унывал, имея на скамейках такое внушительное «лобби».

Кроме того, иногда бабуси обращались за помощью к проходившим мимо военным из нашего дома. Но, слава Богу, армия сохраняла нейтралитет, хотя ее вмешательство на стороне деда не исключалось – особенно военно-воздушных сил, имея в виду защиту *чести мундира*, то бишь летчицкой дедовской фуражки. Вдобавок, в запасе у «лоббисток» были еще и органы внутренних дел. Нас уже не однажды предупреждали: «Сейчас милицию позовем!» А для начала деду посоветовали купить свисток, поскольку мундштук свистел слишком тихо и для разгона игроков приспособлен не был.

Можете себе представить, как нас переполошила атака со свистком! Казалось, что сейчас, махнув рукой на свои посты, к нам отовсюду ринутся милиционеры: с Кропоткинской площади, из-под голубых елей Музея изящных искусств, от монгольского посольства на набережной… Крупная горошина перекатывалась внутри свистка под напором воздушной струи, выбрасываемой из самых дремучих дедовых недр.

Эффект свистка был громаден. Дед чуть не захватил в плен все наши портфели, нашел в траве и конфисковал кепку со сломанным козырьком, поддел гвоздем за вешалку и снял с ветки несчастный китель, пока его хозяин драпал через весь сквер в одной майке, а потом, соблюдая приличную дистанцию, жалобно упрашивал:

– Дедушка, отдай…

И мы готовы были признать свое поражение, хором прося за пострадавшего:

– Отдайте китель…

– Пускай отец приходит! – отрезал дед.

Однако со временем мы убедились, что не только армия, но и милиционеры сохраняют железную выдержку, оставаясь на своих постах. И совершенно правильно поступает, например, сержант на набережной, когда вместо того, чтобы носиться за нами по газонам, выполняет свою прямую обязанность – хранит покой монгольского посла.

Удостоверившись в этом, мы снова вернулись к тактике «точного паса». Но отныне она стала приносить нам куда более зрелые плоды, ведь теперь дед гонялся за мячом не молчком, как раньше, а под собственные переливчатые трели. Он как бы выписывал в воздухе музыкальные вензеля, сопровождая ими те фортели, которые выделывал ногами, пытаясь прервать полет мяча. При этом на его лице сменялась значительная гамма красок: первоначально серое, по мере исполнения оно приятно розовело, становилось красным,

потом багровым, как чертольский закат. С новой руладой дед голубел, приобретая колер, не отличимый от цвета его фуражки. А между тем со стороны могло показаться, что это просто-напросто бегает по полю прыткий футбольный судья, назначивший пенальти, а игроки с ним не согласны и мяч не отдают. Помимо прочего, заняв рот свистком, дед лишился удовольствия высказывать нам свое «фэ». Он нередко оказывался в замешательстве и путался, то крича в свисток, то дуя в воздух.

Кто знает, сколько бы продолжался наш футбольный конфликт, если бы вскоре на сквере ни произошли новые примечательные события.

2

В середине 50-х, в один, действительно, прекрасный солнечный день между клумбой с душистым табаком и бараками, рыхлые доски которых насквозь пропахли въедливым табачным дымом, появились люди, владевшие теодолитом и рулеткой. После тщательных измерений они таинственно удалились.

Вслед за ними приехал грейдер. Он выровнял промеченный участок. Далее шесть землекопов, обнажив мускулистые, лоснящиеся от пота спины, перелопатили землю и добросовестно укатали ее ручным катком. Тем временем мелкая металлическая сетка трехметровой высоты огородила площадку. Те же землекопы, просеяв сквозь частое сито тонкий золотистый песок, рассыпали и утрамбовали его, а получившийся идеально ровный желтый квадрат разлиновали ослепительно белыми полосами. Так московский Дом ученых построил прямо перед домом Перцова теннисные корты – может быть, первые из сооруженных в послевоенной Москве.

На краю Чертолья, хоть и не смертельно, но все же покалеченного войной, в столице переполненных коммуналок и мучительно-длинных очередей вспыхнул вдруг крошечный пятачок яркого света.

Днем площадки (а их было шесть) почти пустовали, разве что кто-нибудь разминался у стенки, ну, а когда зной спадал, расторопный, ухватистый мужик Михал Ильич – бывший гардеробщик и будущий директор ресторана Дома ученых разматывал шланг, свернутый в кольца, как змея, однако вместо жала шланг, упруго изогнувшись, выпрастывал порцию ржавой водопроводной жижи, после чего фонтанировал хрустально чисто, с ровным шипением увлажняя нагретый песок.

– Дяденька, облей! Дяденька, облей! – веселились мы, цепляясь за сетку ограды и подтягиваясь на ней, как мартышки.

Михал Ильич великодушно разворачивал «удава» в нашу сторону и под дружный визг окатывал с головы до ног рассыпающейся радужной струей.

Полив предшествовал массовому наплыву игроков.

Вечером на сыроватых, дышащих свежестью кортах разгорались теннисные баталии. Мужчины и женщины в белом наполняли воздух звоном струн, возбужденными восклицаниями, ни с чем не сравнимой радостью изысканного по тем временам удовольствия.

Среди теннисистов были «номерные» перворазрядники и беспомощные новички, не попадавшие ракеткой по мячу, «аполлоны» и толстяки, скромники и щеголи… Тишайшая девушка в заштопанных желтых носочках обыгрывала шумную, надушенную даму, изъяснявшуюся по-французски всякий раз, когда она попадала в сетку или в аут. Говорили, что это самые страшные французские ругательства, переводимые на русский язык выражениями типа: «Черт побери!» Все партнеры звали друг друга по именам-отчествам, были предупредительны, а то и галантны.

Проигравшие в основном турнире непременно разыгрывали между собой утешительную «пульку». Пока опытные игроки молча боролись за победу, дилетанты, перекидываясь через сетку, обсуждали театральные новости, шутили; кто-то предлагал сопернику после партии выпить шампанского и отужинать в «Праге» – ресторане с чешской кухней, только что открывшемся неподалеку, на Арбате. Чей-то приятель удачно баллотировался в академики, кого-то пригласили читать лекции в Пекин, а всякое упоминание о Китае в ту пору и в том кругу вызывало веселое оживление, как будто речь шла о малыше, потешающем взрослых уморительностью своих наивных реакций.

Одно время я оставался на площадке после детской секции и моим соперником был плотный, коренастый мужчина с серебряным ежиком волос. Играя, он сохранял немногословность и сдержанность. Я знал о нем только то, что зовут его Павлом Алексеичем, что слева он бьет слабей, чем справа, а если «подрезанным» ударом выманить его к сетке, то до «свечи» на заднюю линию он добежать не успеет. Независимо от того, выиграл он мяч или проиграл, Павел Алексеич оставался равно доброжелателен, словно утверждая, что в нашей игре имеет значение не результат, а взаимная радость. Как-то я пошел на Арбатскую площадь, в «Художественный». Перед фильмом показывали киножурнал «Новости дня». И вдруг вижу на экране крупным планом своего постоянного партнера, а диктор сообщает: «Нобелевской премии по физике удостоен советский ученый Павел Алексеевич Черенков…»

Одним словом, дощатый домик-раздевалка на кортах в Курсовом переулке в иные часы вмещал в себя столько блеска, что сам, казалось, начинал светиться, как светлячок, сквозь опутавшие его заросли дикого винограда. По существу, это был клуб, сгруппировавшийся вокруг игры, продолжавшей ее в раскованных пикировках и розыгрышах.

К кортам подкатывали «Москвичи» и «Победы». Жена народного артиста, жившая в особняке напротив, вела секцию для окрестной детворы. Секция притянула к себе всю округу. Теннис стал нашей явью, никогда прежде не будучи даже сном! Такого прекрасного сна никто бы из нас тогда не увидел. Дух захватывало от строгой красоты разлинованных кортов, от общества старших игроков – и каких игроков! Дом Перцова смотрел на этот явленный миру праздник всеми пятью ярусами своих распахнутых окон, в том числе и нашим окном на втором этаже, слева от ворот, а еще левее, в отдаленной глубине меркнущего неба переливался золотыми куполами вечеревший Кремль…

Нам стало не до футбола. Пышно зеленели нетоптаные газоны, опушались листвой тополя, на клумбе благоухал душистый табак. Дед, подобно нам, должен был бы чувствовать себя на вершине блаженства, однако он разъярился пуще прежнего. То ли теннис, занявший полсквера, уполовинил дедову зарплату, то ли заныло у охраны ретиво́е, заскучала она от безделья: шпынять-то некого… Так или иначе, но дед озверел и решил проконсультироваться со своими советницами. Искушенное в дискуссиях «лобби» пришло к мысли о том, что все беды – от кортов. Корты откровенно раздражали: они выглядели слишком ярко, независимо и вызывающе счастливо. С этим надо было бороться: если счастье для всех недоступно, то пусть его не будет ни для кого! Это справедливо.

– Кормящим матерям сподыхнуть негде, а буржуи здеся жиры трясуть, спокою не дають никакого…

– А то как же? Им главное самим *намахаться*, а народ пускай, как хочет… Больно *умныи* стали, больно *ученыи*…

– Вот то-то! Мы всю жизню́ работали-работали, ничего не наработали… Детя́м поиграть места нету, с коляской не выйтить!

– Раньше бы не допустили такого. Живо б всех переловили!

Однако, долгое время у «скамеечниц» не было лидера. Дед лишь сопел, ожесточенно прокалывая очередной окурок. Но ситуация назрела, и предводитель явился.

Им стала наша новая соседка – старуха с мучнистым впалым лбом и лошадиной челюстью, утыканной крупными крепкими зубами. Такая челюсть могла перемолоть кого

угодно. Старуха давно угробила мужа, упекла в тюрьму сына и теперь, оставшись как бы ни при деле, искала, куда приложить свои дарования. Священным долгом почитала она проповедовать среди сограждан принцип равного распределения жизненных благ независимо от усилий и талантов – как раз то, чего так жаждало общество. Помимо того, Челюсть пылала классовой непримиримостью и была грамотна.

– Культура для народа, а не для элиты», – изрекла она. В ее лице общество обрело, наконец, вождя.

И настал один, действительно, несносный, пасмурный день, когда старуха, кипя черным гневом, приковыляла на сквер в компании корреспондента «Советского спорта», представив его как «товарища Тариверди Худаверди». Товарищ Тариверди раскрыл перед бабусями коробочку с припудренными кубиками рахат-лукума и узнал потрясающие подробности о том, как буржуи оттяпали у народа половину сквера, как «ихняя машина» стерла с лица земли песочницу с детскими куличами, а подкупленные землекопы перекопали те куличики, смешав их с просеянным через мелкое сито песком.

– У нас в Баку такое нэвозможно, – заверил Худаверди – москвич с двухлетним стажем, в сердцах пробросив пустую коробочку мимо урны.

«Скамеечницы» зашумели. Пресса возмутилась с ними в унисон. И половину кортов (три площадки) отдали народу. Революция, о которой так мечтал дед, свершилась.

Но не младенцы в колясках, не песочницы утвердились на отвоеванных кортах, а татуированная амнистия в кирзе, перепахавшая идеальный дренаж, бессмысленной кучей с подзаборным перематом гонявшая спущенный, хлюпающий, как галоша, «волдырь».

Наспех запеленав грудничков, матери попрятались по дворам. А бабуси, разволновавшись, обратили свои взоры на Челюсть.

– Идея была правильная, – сказала та. – Но кто же мог предположить, что свергнем аристократию мы, а власть захватят уголовные элементы?

– У нас в Баку такое нэвозможно! – категорически заявил Тариверди Худаверди, вновь затребованный из редакции. – Позор!

Все на свои места поставило время. Дед вышел в отставку. «Амнистия» не выдержала испытания свободой. Секция возбудила вопрос о судьбе кортов, и он решился естественным образом – в ее пользу.

3

Новые времена опять поставили под вопрос будущее кортов как части кардинально изменившегося чертольского пейзажа. Гений места мог бы его теперь сразу и не узнать.

Сначала упразднили бассейн «Москва». Потом закрыли сквер, проведя через него наружную теплотрассу к восстановленному взамен бассейна храму Христа-Спасителя. Сквер огородили металлической сеткой. От храма на другой берег Москвы-реки перекинули пешеходный Патриарший мост. Кондитерскую фабрику «Красный Октябрь» закрыли…

В доме Перцова уже давно расположилось управление по обслуживанию дипкорпуса. В «Вавилонской башенке» (особняке напротив кортов) – канцелярия посольства Мадагаскара.

Наконец, очередь дошла и до самих площадок. Слишком влекущим оказался для многих этот клочок земли в самом центре Москвы. Слишком низко пал авторитет науки в век бухгалтерии.

Теперь вымахавшие в небо «дедовы» тополя, окружавшие корты, частично вырублены, сами же площадки до поры зияют пустотой. Домик-раздевалка снесен вместе с обвивавшим его диким виноградом. Теннисные корты московского Дома ученых похоронены под напором изменившегося времени. Они родились, жили и умерли в пределах моей судьбы. Примерные годы их бытия: 1954–2013. Когда-нибудь никто и не узнает о том, что они были, равно как и о том, какая жизнь кипела на них и вокруг. Может быть, мое «краеведение» отдалит их кончину хотя бы в памяти ныне живущих.

Я стою на углу дома Перцова и набережной, не около главного входа с наполовину стеклянной двухстворчатой дверью, а возле крохотного изящного подъезда, в котором жила когда-то наша дворничиха с красавицей-дочкой. У них был свой ключ не просто от квартиры, но от входной двери в дом Перцова!

Ко мне приближаются двое доходяг. Один следует мимо, другой приостанавливается у керамических сказочных птиц над входом и спрашивает:

– Вы что так смотрите?

Отвечаю:

– Любуюсь на красоту. Вы видели где-нибудь еще такой дом?

Кажется, он пытается припомнить, но что-то не припоминается. Помедлив, задает непраздный вопрос:

– А вы что здесь? Турист?..

Теперь с ответом медлю я. Кто я здесь? В подробности не вдаюсь:

– Да… Турист.

НЕАПОЛИТАНСКАЯ ТАРАНТЕЛЛА

В седьмом классе я попал в старый московский особняк на Кропоткинской (ныне – Пречистенке). Его хранили сторожевые львы над воротами, а богатый интерьер еще не был поваплен вкусом позднейших распорядителей. Стоял апрель. Подтаявший, подсохший, полный добрых предчувствий, такой апрель, каким он обычно и бывает в Москве – не холодным, но и не жарким. Теплым. Предпраздничным. Когда шубы давно уже сменились на пальто, а пальто вот-вот готовы уступить место пиджакам и кофточкам, а те – рубашкам и весенним платьям. Когда в одно прекрасное утро город внезапно опушается первой зеленью, переодевается и предстает совсем иным, нежели он был вчера: не хмурым и заспанным, а просветленным, солнечным, бодрым. Апрель – месяц надежд. Месяц вернисажей, поэтических вечеров, театральных премьер…

Студия Дома ученых готовила мольеровского «Скапена». Готовила тщательно, всю зиму. Пьесу играли старшеклассники. Роли были распределены еще осенью и постепенно выучены. Однако в целом спектакль не складывался: текст не «отскакивал от зубов», а вяз, теряя свою свежесть. Отдельные сцены не ложились в общую мозаику и слипались, как тянучка. Артистам становилось скучно от самих себя.

Томительно было слушать, как девочка с комсомольским значком на школьном фартуке, смущаясь того, что ей приходится говорить, произносила:

– Да, Октав, я верю, что ты меня любишь, но не знаю, всегда ли ты будешь любить меня?

А красавец Октав хлопал в ответ длиннющими черными ресницами и вопрошал:

– Да как же можно тебя полюбить не на всю жизнь?..

– Хорошо, хорошо, – подбадривала мнимых влюбленных Ольга Ивановна – режиссерша, ставившая спектакль. Когда-то она играла в Театре транспорта у Курского вокзала, а Театр транспорта в московской афише занимал далеко не первую строчку.

Ольга Ивановна медленно закуривала сырую толстую папиросу, похожую на серую макаронину, на треть набитую табаком, и просила артистов:

– Пожалуйста, не спешите! Октав, Гиацинта, ну куда вы так торопитесь? Больше проникновенности.

Гиацинта, наддав слезу в голосе, продолжала, комкая носовой платочек, а на самом деле как бы в полудреме:

– Говорят, что вы, мужчины, не способны любить так долго, как женщины, и будто самая сильная страсть у мужчин угасает так же легко, как и возгорается.

– Октавчик, на колено, – подсказывала Ольга Ивановна.

Коленопреклоненный Октав, тяготясь собственной наигранностью и не веря ни единому своему слову, признавался:

– Значит, мое сердце устроено не так, как у других, дорогая Гиацинта: я уверен, что буду любить тебя до могилы.

– Боже! Как заунывно, как печально! Простите, что я вас прерываю, но ведь это никуда не годится.

Полный пожилой мужчина с коричневатым, словно не отмытым от грима лицом, чрезвычайно подвижный, вальяжный, распахнув кремовый пиджак и демонстрируя узкие узорные подтяжки, выбежал на середину Белого зала. Репетиция шла в шикарных покоях с картинами старых мастеров в курчавых липовых рамах.

Мы сидели на стульях, которые в музеях служат редкими экспонатами, а перед нами стоял настоящий артист театра имени Вахтангова Вацлав Липинский – некогда блеснувший Хлестаков, несыгранный Чичиков,

поклонник французской школы. Его сын, Липинский-младший, играл в «Скапене» слугу Сильвестра и по просьбе Ольги Ивановны обратился к отцу за помощью – проконсультировать постановку, то есть вдохнуть в нее жизнь. Так же как и я, Липинский-старший пришел на репетицию впервые, но в отличие от меня он знал, что делать с этой закисавшей самодеятельностью.

– Детка! – обратился он к Гиацинте. – Вы догадываетесь, сколько идет «Тартюф» во МХАТе? Нет? Четыре часа. Это же смертоубийство! А «Комеди франсэз» играет «Тартюфа» за два с половиной часа без купюр. Вот что такое ритм! Вот что такое темп! Ольга Ивановна, милая, они у вас совсем спят, еще от зимы не очнулись, а уже апрель на дворе. Гиацинта, детка,

Сумеет ли тебя сегодня добудиться
Крылатый бог Амур, тобою восхищен?
Ты слишком долго спишь, души моей царица!
Проснись! Жизнь без любви – не более чем сон.

Не бойся ничего: в стране очарований,
Где властвует Любовь, печали не страшны.
Ведь даже и в тисках сомнений и страданий
Возносят ей хвалу сердца, что влюблены.

В себе ее таить – нет тяжелее казни…
К чему казнить себя? Да будет жизнь легка!
Стеснения отбрось и мне в своей приязни
Признайся, не страшась лукавого стрелка…

Мольер играется с выдумкой, с озорством, расторопно, ходко. В нем есть пафос лирического поэта. Он – смесь изысканности и балагана, эксцентрики и лирики. А главное в нем – темп. Имя «*Скапен*» происходит от «*scappare*» – удирать, убегать.

– Но ведь здесь… признание в любви, – возразила Ольга Ивановна.

– Ну, и что? Его тоже надо проворачивать в темпе. Гиацинта, дайте мне вашу последнюю реплику… Октав, где текст? Благодарю.

– … будто самая сильная страсть у мужчин угасает так же легко, как и возгорается, – прошелестела испуганная Гиацинта.

– Значит, мое сердце устроено не так, как у других, дорогая Гиацинта! – пылко откликнулся консультант. – Я уверен, что буду любить тебя до могилы.

И если юный Октав интонационно лег в могилу, то старый вахтанговец отпрянул от нее.

– Мне хочется верить, что ты чувствуешь то, что говоришь, в искренности твоих слов я ничуть не сомневаюсь, – пролепетала Гиацинта, замирая от того, что обращается к Липинскому на «ты». – Я боюсь только, чтобы родительская власть не заглушила в твоем сердце нежных чувств, которые ты, быть может, питаешь ко мне.

– Темп! Произнесите все вдвое быстрее, – взмолился партнер.

И Гиацинта проснулась, оживилась, а живость вернула ей ее очарование.

– Ты зависишь от отца, который хочет женить тебя на другой, а я твердо знаю, что умру, если со мной случится такое несчастье.

– Нет, прекрасная Гиацинта! – снова воскликнул Липинский вопреки Мольеру, ведь в тексте после обращения к Гиацинте стояла всего лишь запятая. – Никакой отец не заставит меня изменить тебе, я скорее расстанусь с родиной и даже с самой жизнью, нежели покину тебя… Октав, подключайтесь! Это ваша роль!

И Октав подхватил заданный ритм. Репетиция пошла, набирая обороты, вдохновленная примером и авторитетом артиста.

Ольга Ивановна не спорила. Роли ребята выучили. Мизансцены Липинский почти не трогал. Все его усилия были нацелены на темп и тон; ими он собирал рассыпанную мозаику явлений.

Но тут возникла новая трудность. Актеры не могли совместить быстроту произнесения с разборчивостью речи.

– Какая у вас каша во рту! Боже мой, какая каша! – сокрушался Липинский, хватаясь за голову. – Где же дикция? Вы совсем не думаете о зрителях. Они как минимум обязаны разобрать текст. И текст не какой-нибудь, а классический. Это же Мольер! А вы превращаете его в неразборчивый анахронизм. Думаете: раз XVII век, то, что с него взять? Нет, классик всегда современен, на то он и классик. Когда говорят, что классика не подвластна времени, именно это имеют в виду: классик созвучен любому времени, не только своему. Но что же нам делать с вашим бормотанием? Куда деваться? Кошмар… Придется кланяться в ножки нашей дражайшей фее.

На следующее занятие Липинский привел под руку наипочтеннейшую даму, передвигавшуюся уже с трудом. Но, как только она добралась до кресла и уселась, едва лишь расправила вокруг себя края золотистой вязаной шали, так, собрав морщинки возле румяных уст, на удивление отчетливо проскандировала:

– От то-по-та ко-ыт

Пыль по по-лю ле-тит… –

Внутренне загораясь, фея артикуляции касалась волшебной маленькой ладошкой по очереди каждого из нас и почти губы в губы показывала работу речи:

– Сшит кол-пак, да не по-кол-па-ков-ски…

На-до кол-пак пе-ре-кол-па-ко-вать,

Пе-ре-вы-кол-па-ко-вать! – Повтори, дружочек.

И «дружочек», путаясь в зубах и языке, повторял:

– Сшит кол-пак, да не кол-по-па-пов-ски…

– Не по-кол-па-ков-ски, – терпеливо улыбаясь, повторяла фея, взмахивая крыльями шали.

Зато после того как мы превзошли *пе-ре-вы-кол-па-ко-вы-ва-ни-е* колпака, артикуляция мольеровского текста казалась уже до смешного простой, и Скапен легко «околпачивал» папашу Арганта, внятно строча ему свои бессмертные аргументы:

– Да вы посмотрите, что в судах делается! Сколько там апелляций, разных инстанций и всякой волокиты, у каких только хищных зверей ни придется вам побывать в когтях: приставы, поверенные, адвокаты, секретари, их помощники, докладчики, судьи со своими писцами! И ни один не задумается повернуть закон по-своему даже за небольшую мзду…

Перечислив все прелести судопроизводства, Скапен дал Арганту добрый совет:

– Нет, сударь, если можете, держитесь подальше от этой преисподней. Судиться – все равно, что в аду гореть.

Я аккуратно ходил на репетиции, радуясь тому, что спектакль крепнет; наблюдая, как вертится по залу хитроумный слуга; как два обманутых им семнадцатилетних отца-негоцианта Аргант и Жеронт дружно воздевают руки к люстрам, каждая из которых стоит целое состояние; как хорошенькие шестнадцатилетние «дочки» этих «папаш», Гиацинта и Зербинетта, подбирая воображаемые кружева, то есть школьные фартучки, капризно топочут на месте, желая немедленно выйти замуж за своих ровесников, Октава и Леандра; как тугодум Сильвестр, оставшись один, произносит вполне уместно:

– Вот уж, можно сказать, удивительный случай!

Я замечал, что Липинский нет-нет да и посмотрит сочувственно на меня, сидевшего без роли. Пьесу я знал близко к тексту, однако вакансий не было. Правда, Ольга Ивановна пообещала мне роль в новом представлении на будущий год.

До премьеры оставалось три недели. Наш спектакль уже значился в календарном плане Дома ученых на май:

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ

МОЛЬЕР

«ПЛУТНИ СКАПЕНА»

Комедия в трех действиях

Постановка – О. И. ЛУРЬЕ

Консультант – заслуженный артист РСФСР

ВАЦЛАВ ЛИПИНСКИЙ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ, 15:00

Папа прочел календарный план с карандашом в руке и поставил напротив Мольера жирную красную птицу. Мама уточнила, во сколько начало, а Филипповна довела до сведения соседей, что «у воскресенья усе идуть в Дом вученых на спихтакаль. Наш не вучаствуить. Роли не хватило. Но на другой год бешшають…»

Кроме родственников и друзей, на представление могли прийти ученые, в том числе театроведы, знатоки Мольера. Артисты трепетали, а я даже радовался, что у меня нет роли: можно не волноваться.

Репетируя, мы добрались, наконец, до последнего, тринадцатого, явления последнего, третьего, акта.

Липинский прочел вслух авторскую ремарку:

– «Те же и Скапен».

С к а п е н (с обвязанной головой, будто бы ранен; его вносят два носильщика…) – Стоп! А где у нас носильщики?

Ольга Ивановна закурила «Беломор» и, выпустив синеватый дымок, ответила:

– Носильщиков у нас нет. Поскольку обмен репликами ведется между Скапеном и отцами, внести Скапена могут сыновья.

– Слугу вносят господа? – усомнился Липинский. – А в действующих лицах носильщики значатся?

– Да. В самом конце. Два носильщика.

– Значит, они нужны! Вот вы, детка, и будете у нас «два носильщика», – обратился Липинский ко мне. – Идите сюда. Возьмите Скапена под мышки и тащите его на середину.

Скапена играл Сережка Ширингин, давно переименованный нами в *Ширинкина,* так же, как его Скапен стал *Шкапеном.* Сережка был старше меня, но легче, дробней. Я подхватил его под мышки и выволок в самый центр зала, под люстру. Он провис у меня на руках. Ему было неудобно, однако поза отвечала неловкости ситуации, в которую он попал по Мольеру.

– Ах, ах! Видите, господа… Видите, в каком я положении! – повторял Скапен, сползая с рук, так что мне невольно пришлось его встряхнуть и подпереть сзади коленкой.

– Йошкар-Ола! Ты что делаешь? – дернулся было Сережка. Но у «двух носильщиков» не забалуешь. «Мы» держали его крепко.

– Продолжайте! – смеясь, крикнул Липинский. – Это в духе мольеровского балагана.

– Ах! Господа! Прежде чем испустить последний вздох… – продолжил плут, но тут «носильщики», войдя в роль, снова дали ему легкого пинка.

Привыкший озоровать сам, Скапен почувствовал себя беспомощным. Тем более что он был связан репликами, а «мы» – нет.

– …простите за все, что я вам сделал…

И начались переговоры Скапена с папашами.

– Говорят тебе, перестань…

– Ах, как вы добры, сударь!..

– Ну, да, прощаю…

– Ах, сударь…

– Ну, нет…

– Как же так?..

– Если ты выздоровеешь…

– Ох, ох! Мне опять хуже!..

Сережка совершенно обвис, и держать его «нам» стало невмоготу. Ну, за что автор лишил носильщиков дара речи? Хоть бы какая реплика, освобождающая от груза!

Шкапен навалился, «мы» оступились, и все загремели на паркет.

– Я так не играю! – закричал *Ширинкин.* – Он меня уронил. У Мольера этого нет!

– Идемте, отужинаем вместе и повеселимся как следует, – в согласии с автором предложил один из отцов.

– А меня пусть поднесут поближе к столу… – начал Скапен и, увернувшись от «носильщиков», поскакал в угол зала на своих двоих.

– Поздравим нового исполнителя со вступлением в роль! – сказал Липинский, взяв меня за руку.

– В две роли, – уточнила Ольга Ивановна, улыбаясь.

– Жалко, что мы не играем «Мнимого больного», – съехидничал *Ширинкин.* – Там бы тебе могло перепасть сразу восемь ролей!

– Каких? – спросила Гиацинта.

– Восемь клистироносцев!

– Фу!..

– Если бы мнимым больным был ты, я бы согласился.

– А если ты мне, Йошкар-Ола, и на сцене пинка дашь… – сжал кулак Скапен.

– …то все обхохочутся, – заключила Гиацинта.

И мы, подталкивая друг друга, побежали в киноаудиторию – двухэтажный зал с античными гипсовыми головами – в зал, где днем занималась изостудия, а вечером танцевали мы.

Никаких танцев в спектакле не было. Просто нас учили «движению».

Кареглазая бабушка-хореограф, постукивая шпильками туфелек и мягко приседая на поворотах, разучивала с нами польки, вальсы, танго и фокстроты. Толкотни на этих занятиях было больше, чем прока. Все

предавались веселью. Но если девочки веселились всерьез, то парни выкаблучивались, как могли, поэтому в девичьей радости была красота, а в нашей – одна шкода. Почтенные папаши, вальсируя, припадали на якобы разбитые подагрой колени; Октав и Леандр наступали друг другу на пятки; Сильвестр норовил превратить фокстрот в рок-н-ролл. Только я на правах новенького умерял свой пыл.

– Как успехи? – спросил однажды Липинский у хореографа.

– Молодые люди валяют дурака, – честно призналась бабуся. – Танцуют лишь девочки и новенький.

– Вот и отлично! Разучите с ними тарантеллу[18]. Это будет вставной номер. У Мольера сказано: «Действие происходит в Неаполе». Так пусть нам украсит спектакль «Неаполитанская тарантелла»!

Вива, Италия! Вива, Мольер!

Генеральная репетиция была на носу. К ней мы и подготовили тарантеллу. Дома я рассказал о том, что теперь у меня три роли: «двух носильщиков» и танцора.

– Не было ни гроша, да вдруг алтын! – отреагировал папа. – А слова у тебя есть?

– Слов нет.

– Нету слов… – улыбаясь, развел руками отец.

– Зато я целое явление держу Скапена, а потом падаю с ним…

– Что же ето за роль такая: держал-держал да и грякнулси? – спросила Филипповна.

– Роль эпизодическая. Он занят в эпизоде, – пояснил папа и добавил. – С этого все великие артисты начинали: Раневская, Мартинсон…

– А костюмы у вас будут? – поинтересовалась мама.

– Не знаю. О костюмах речи пока не шло.

---

[18] **Тарантелла** – итальянский народный танец.

– Куды уж тут костюмы – на пол-то грякаться? – усомнилась Филипповна и вышла в коридор:

– Телехвон звонить…

– Узнай про костюмы, – забеспокоилась мама. – Может быть, надо самим готовить?

– На три роли, – уточнил папа.

Тем временем Филипповна объясняла кому-то по телефону:

– На следушшее воскресенья у их спихтакаль… Да… У Доме вученых… На какой Миластроиской?.. Не на Миластроиской, а на Кропотинской… За аптекой. Нашему нонча роль дали. Одного парня держить, а послѝ уместе с им грякаются. И смех, и грех…

А перед генеральной репетицией произошло событие, взволновавшее всех артистов. Особенно девочек. Мамины опасения оказались излишни: шить наряды самим не пришлось. Напрокат нам привезли шедевры театральных мастерских – настоящие французские костюмы XVII, ну, от силы XVIII века!

Скромный Скапен переоблачился из школьного кителя в шитую серебром тужурку, белоснежное жабо и какой-то фартовый кепарь. Папаши утонули в непомерных париках, куделями свисавших на грудь. Они плыли в роскошных камзолах и широких плащах с меховыми муфтами. Оба отца были одеты по существу одинаково, отличаясь не столько деталями туалета, сколько их распределением, но распределение вносило во внешность каждого иное качество, подобно тому, как перестановка слогов превращает существительное «*модельер*» в имя собственное: «*де Мольер*».

Сыновья немедленно схлестнулись на гибких, точно прутья, бутафорских шпагах, переливаясь всеми позументами добротного

жюстокора[19], стуча один – башмаками с бантами, другой – туфлями «а ля кавалери».

А девочки… О, девочки превратились в светских красавиц, щеголяя приподнятыми, собранными в рюмочку талиями, распашными юбками, разрезными рукавами, кружевной отделкой манжет, неподвижным твердым кружевцем стоячих воротников!

В костюмах мы вышли репетировать на сцену Большого зала. Мы учились не путаться в кулисах; не наступать на хвосты дамских платьев; засовывать шпаги в ножны легко, не глядя, вместо того чтобы мучительно тыкать острием мимо, и – увлекшись этим занятием, – забывать текст. Мы тренировались ходить по грубым доскам сцены, как по зеркальному паркету Белого зала, куда больше напоминавшему Версаль или дворцы неаполитанских негоциантов, нежели напоминали о них эти корабельные подмостки.

Прогон пролетел на одном дыхании. Тарантелла гремела и ликовала. Девушки с цветами кружились вокруг меня, мелькавшего белой рубашкой, перетянутой красным кушаком. Рыжая аккомпаниаторша за кулисами всаживала пальцы в клавиши по вторую фалангу, перебирая педалями, как «тормозом» и «газом». А я бренчал на струнах расстроенной мандолины, гремя высокими каблуками старинных туфель с блестящими пряжками.

Липинский сказал, что тарантелла – камертон спектакля, что весь его надо играть так, как мы танцуем ее.

В тринадцатом явлении третьего действия «носильщики» по обычаю уронили Скапена, смягчив его гнев тем, что хлопнулись рядом. А последняя реплика Арганта: «Идемте, отужинаем вместе и повеселимся, как следует», – была воспринята всеми буквально. После прогона мы отправились на

---

[19] **Жюстокор** – длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника, с короткими рукавами и карманами.

«французский ужин» – в Савельевский переулок, домой к Зербинетте, мнимой цыганке.

Намечались: красное бургундское, сыр с плесенью и бисквиты. Наличествовали: водка московская, сельдь тускло-сизая, хлеб черный. Аристократические изыски опрокинуло нормальное рабоче-крестьянское меню.

Нож не резал. Буханку черного в клочья разорвали в воздухе голодными руками. Зелье подействовало безотказно. Воспоминания о Неаполе померкли в грохоте «рока». Тут пошла уже совсем другая география:

Й-Истамбул, Константинополь.
Й-из Парижа в Андрианополь
Два дня й-ехали, три дня топали.
Й-Истамбул, Константинополь!.. –

дорывался папаша Аргант, а коллега Жеронт подхватывал «рок»-эстафету:

Ай-вай-вай!
Парижский ай-вай-вай!
Положишь на ложечку варенья –
Почувствуешь под ложечкой
У-дов-лет-во-ре-ни-е!

И все горланили как один:

Й-Истамбул! Константинополь!..

Сильвестр извивался посреди комнаты между Зербинеттой и Гиацинтой, по очереди рывком привлекая к себе то одну, то другую. Сыновья, размахивая стаканами, чокались с кормилицей Нериной, а Скапен вопил на всю квартиру:

– Ребята! Вы посмотрите, что в сосудах делается, Йошкар-Ола! Почему водки нет?

…Поздно вечером «два носильщика» тащили на себе потерявшего устойчивость *Шкапена.* В глазах у него двоилось. Время от времени он повелевал:

– Рабы, к морю! Хочу купаться…

Но купаться ему, подгулявшему, пришлось сперва дома – в материнских слезах, заодно брызнувших и на «носильщиков», а потом – в лучах славы. Друзья и родственники артистов аплодировали им со всей щедростью заждавшейся представления публики. Родители не узнавали своих чад, задрапированных в наряды времен Людовика XIV. Под самый финиш «носильщики» уронили-таки Скапена, но по дружбе поймали на лету. А неаполитанская тарантелла – камертон спектакля – и поныне звучит во мне, осыпаемая цветами – той первой, подмосковной, дымчатой, майской сиренью, что так быстро увядает наяву и никогда – в памяти.

ВИОЛОНЧЕЛЬ ЗА БУМАЖНОЙ СТЕНОЙ

1

Во время войны, когда меня еще и на свете не было, в наш дом попала бомба. Немецкий летчик не долетел несколько сот метров до защищенного зенитным огнем Кремля и метнул фугасы двумя секундами раньше, чем от него требовалось, – на жилой квартал.

Представляю, как мелькнули в его прицеле колокольня церкви Ильи Обыденного, серая лента Москвы-реки, дом Цветкова на набережной, наши переулки, которые станут такими родными для нас и останутся такими безразличными ему; как бомбы, ускоряясь, пошли к земле и соседнее строение, взмучиваясь клубами пыли, опало в руинах, а наше – дом Перцова – фугас прошил насквозь и застрял в подвале, так и не взорвавшись.

Все внутренние перегородки в квартире на втором этаже, куда мы переедем лет через семь после налета, оказались тогда разрушены и заменены временными –

фанерными. Стоило постучать костяшками пальцев по внешней, капитальной, и внутренней стенам, чтобы убедиться в разнице отклика.

Вообще такое отвратительно-грубое физическое воздействие, как бомбовый удар, породило массу акустических недугов – последствий иногда весьма тонких, но не о них пойдет тут речь, а о тех влияниях, которые переменившаяся слышимость оказала на жизнь населявших квартиру жильцов, когда понятие «*звукоизоляция*» утратило смысл, уступив место понятию «*звукопроницаемость»;* когда старое иносказание: «*стены имеют уши*» обогатилось дополнительным оборотом: «*а уши стен не имеют*».

Внутренняя перестройка сделала звуковую индикатрису квартиры достаточно прихотливой, как говорят, анизотропной; иными словами, звук распространялся в разные стороны по-разному. Крепкие перекрытия между этажами предохраняли нас от шума сверху и снизу. Капитальная внешняя стена и широкое окно с двойными рамами защищали от тишайшего и не требовавшего никакой защиты Курсового переулка. Окна с противоположной стороны квартиры выходили в глухой колодец двора. Короче, весь звук гулял между поделенными на четыре семьи четырьмя комнатами: двумя по левую сторону коридора и двумя по правую.

Нашим непосредственным соседом был дипкурьер Сверчков с женой и сыновьями: меланхоличным меломаном Гошей и младшим Шуриком – щупленьким и шустрым, как атом водорода. Сверчковы жили сравнительно мирно. Отец часто бывал в отлете, Шурик более или менее слушался маму, а Гоша, от природы задумчивый, бледнолицый мальчик, никогда не создавал никакого шума. Это был идеальный сосед.

Напротив нас через коридор квартировала охочая до мужского пола уборщица Nadin с дочерью Диной – девушкой на выданье и поклонницей Бальзака. А к ним примыкал пенальчик с коллегой Филиной – женщиной мертвой вратарской хватки и джамбульского возраста. Поскольку женские лета́ всегда есть дело сугубо личное, то ограничимся лишь двумя пояснениями:

- под «*джамбульским*» понимается возраст старейшего акына Советского Союза Джамбула Джабаева (1846–1945). Таким образом, женщина джамбульского возраста настолько же богаче летами женщины возраста бальзаковского, насколько долгожитель Джамбул богаче мужчины средних лет Оноре де Бальзака (1799–1850);

- а под акыном разумеется человек, который пишет о том, что видит, в отличие от писателя, который видит то, о чем пишет.

Звукопроницаемость между Nadin и Филиной была точно такой же, как между нами и дипкурьером, а именно: желанию оставаться в курсе всех соседских событий

удовлетворяла самая скромная острота слуха. Однако коридор надежно отделял нас от дружественной оппозиции, а ее – от нас. Здесь уже индикатриса призывала к ухищрениям. Скажем, к замедлению шага при прохождении в ванную комнату. Этот способ сбора информации успешно применяла Глафира Поликарповна Филина, мотивируя неторопливость своей поступи как годами прожитой жизни, так и экономией электрической энергии: обычно Глафира пробиралась по коридору впотьмах на ощупь, но уже заранее на свету начинала исподволь шевелить, как локаторами, загнутыми желтыми ушами и, как антеннами, выставленными вперед пальцами обеих рук.

Наш недостаток сведений об умонастроениях оппозиции с лихвой окупался тем, что как раз напротив нашей двери помещался общественный телефон. Реагировал он исключительно на повышенный голос, а спокойный доносить до абонента категорически отказывался. Это означало, что всю информацию, в том числе совершенно секретную, по телефону надлежало прокрикивать. А если вы не хотели, чтобы ваша тайна становилась достоянием гласности, ее, тайну, следовало метафорически камуфлировать, переводя в разряд загадочных кодов. Но и коды приходилось время от времени менять.

Главной шифровальщицей в нашей квартире работала Глафира Поликарповна, а главной дешифровальщицей – Nadin. Филиновская шифровка типа: «А у нас опять в гостях любитель «Казбека» – успешно употреблялась два, от силы три раза, после чего Nadin становилось ясно, что понимать ее надо так: «А Надежда Петровна снова сдает койку приезжему с Кавказа». Работа мысли приводила Филину к новой шифрограмме: «Скоро, скоро воды Куры потекут в Москву-реку…», – и этот гидротехнический феномен некоторое время надежно вуалировал истинный смысл предполагавшегося события: приезд торгового гостя с берегов Куры.

В самом деле, благодаря общительности Конкиной-старшей номер нашего телефона быстро снискал всесоюзную известность. Можно было подумать, что по радио регулярно объявляли: «Граждане! Пользуйтесь услугами московской городской телефонной сети. К сведению иногородних: по всем вопросам, связанным с временным проживанием в Москве, обращайтесь по телефону: Г-6-11-54. Повторяем номер: Г-6-11-54». И от желающих не было отбоя.

В этих условиях важным становилось умение переключаться: когда интересно – слушать; когда не интересно – не обращать внимания. Но подобный совет, пригодный для сеансов телефонии, оказался неприемлемым по отношению к соседям за стеной. Если бы они говорили всегда с одинаковой громкостью! Но нет. В том-то и штука, что общались

они то тише, то громче, а то и вовсе умолкали, и зависело это строго от серьезности обсуждаемой темы.

Пока речь велась о какой-нибудь ерунде, Сверчковы стрекотали напропалую. Дипкурьер что-то доказывал супруге; дипкурьерша его оспаривала.

Иногда, чудесно расширяя отведенный ему природой вокальный диапазон, Сверчков-отец спускался до громоподобных низов, взывая:

– Людмила! А совесть у тебя есть?!

Порой она уходила в заоблачную колоратуру, по-алябьевски певуче солируя:

– А что-о у *тебя-то* есть, а что-о у *тебя-то* есть, можешь ли ты мне ска –а! – ска – а – ска-а-а-а-а-зать?!

Порой голоса сплетались в дуэт:

– Людмила!

– Уйди с глаз моих!

– Бессовестная!..

– Постеснялся бы соседей!..

К солистам с воодушевлением подключался Шурик. Начиналась полифоническая перебранка на манер итальянской оперы-буффа[20], когда каждый настойчиво проводит собственную партию, не слушая партнеров и не заботясь о том, слышат ли его они. Бывало, за стеной что-то падало, иногда со звоном.

Однако, как только речь заходила о чем-либо существенном, крик мгновенно стихал, и комната за фанерной стеной словно вымирала, превращаясь в глухой погреб, в подвал, в бетонное бомбоубежище, откуда не просачивалось ни единого звука. Можно было сколько угодно приникать ухом к обоям, скользить им от плинтуса к потолку и обратно, выискивая хоть какую-нибудь звуковую протечку, хотя бы малейший ее след – тщетно. Ничего кроме сладкого голубиного радиоворкованья из-за стены не доносилось: «К сведению иногородних… Повторяем номер телефона: Г-6-11-54…»

Благо, о существенном соседи по обеим сторонам коридора говорили редко, так что хроническим перенапряжением слуха никто из жильцов не страдал.

Случалось и так, что тишина у Сверчковых воцарялась тогда, когда страсти накалялись у нас. Вообще синдромы гнева, равно как и флюиды умиротворенности, ничуть не хуже, чем звуковые волны, проницали фанерный лист, пасторально оклеенный

---

[20] **Опера-буффа** – итальянская комическая опера.

с двух сторон бумажными обоями в цветочек. В конце концов, раздраженность или покой чувствовались и без вспомогательных сигналов, возбуждая или успокаивая наши сердца.

2.

В сложившейся акустической обстановке серьезную озабоченность жильцов вызывал вопрос о музыкальном образовании детей.

– Аристарх сказал, у Динки слуха нет, – делилась по телефону Nadin, ссылаясь на авторитет бывшего мужа – динкиного отца, и ни в какое обучение дочь не отдавала.

Я поначалу только баловался музыкальными приношениями ближайших родственников. То у меня появлялся какой-нибудь пластмассовый кларнет с четырьмя дырочками, дисциплинированно издававшими одну и ту же ноту, то детский ксилофон, рассыпавшийся мелкими колокольцами расстроенной музыкальной шкатулки. Как-то дедушка подарил мне красный пионерский барабан с кленовыми палочками впридачу.

Сверчковы за стеной напряженно затаились при первых же тактах воинственно треснувшей дроби. Но недолго изображал я движение русских полков по полю Полтавской битвы. Уже отдаленный грохот приближающихся войск выкурил папу вместе с папиросой в коридор; утомил маму, сказавшую, что ее барабанные перепонки этого не выдерживают; замкнул в себе Акулину Филипповну и, признаться, несколько разочаровал меня самого монотонностью ратной побудки.

Все же в целом вопрос оставался открытым. Сверчковы чувствовали, что кларнет, ксилофон и барабан могут вылиться в нечто более постоянное, пусть и менее однозвучное. Они, например, очень насторожились, узнав, что мы с мамой побывали в десятой квартире у художника Куприна. Конечно, пейзажи – дело тихое, и шорох беличьей кисточки по выпуклым клеточкам шершавого холста не способен посеять панику даже в трепетных курьерских ушах. Однако им стало известно, что наше внимание привлекли не только пейзажи благообразнейшего Александра Васильевича. Пленэр пленэром, но ведь старичок изготовил домашний орган собственной конструкции – достаточно полнозвучный инструмент, обладавший удивительно долгим эхом; инструмент, на котором конструктор с авторским удовольствием исполнил нам свои трехголосые инвенции (заметьте: *трехголосые!)*

Нет, опасения, вызванные органом, не оправдались, второй орган для меня Куприн делать не стал, зато однажды, ничего не подозревавший и чуть-чуть сизый от «Бренди» голубь дипломатической почты, прилетев из Сан-Франциско, получил прекрасную

возможность познакомиться со всеми особенностями звучания натурального мажора в исполнении начинающего пианиста. Мне купили черную черниговскую «Украину» – настоящее пианино, спорившее грацией со старинной купеческой горкой[21], – пианино, которое на широких лямках через плечо внесли в квартиру два лохматых грузчика на дюжих лапах. «Лапы», мелко перебирая, пританцовывали на поворотах; грузчики по-товарищески предупреждали друг друга:

– Ноги, ноги береги!

А от меня требовали, напрягая багровые шеи:

– Мальчик, уйди отсюда… И отсюда уйди!.. Поторонись!..

Я уходил отовсюду; меня не оставалось нигде; няня тоже сторонилась, давая проход, отодвигала обеденный стол и распоряжалась:

– К стеночке, к стеночке ея, пиянину-то, становьте, к стеночке. Уп-лотную. А вывеской чтоб наружу.

– Паркет не поцарапайте, – просила мама, только вчера до зеркального блеска натершая вощеный пол жесткой засаленной щеткой.

Единственное свободное место, куда помещалось пианино, – впритык к сверчковой стене. Туда его и поставили.

Дипкурьеры ответили на наш непреднамеренный вызов буквально тем же. Недолго думая, новые мелко семенящие «лапы» попытались втащить в нашу комнату вторую «Украину», но догнавшая их дипкурьерша велела заносить покупку в соседнюю дверь. С противоположной (курьерской) стороны – инструмент в инструмент – стало пианино для Гоши. Это был сильный ход, поскольку, кроме Гоши, к открытой клавиатуре то и дело подскакивал шустрый Шурик, но в отличие от брата Водород брякал по всем клавишам подряд, ища гармонии в случайных комбинациях пальцев. Правда, из этого у него фиг что получалось. Музыкальные пробы продолжалось до тех пор, пока Сверчков-папа не вспылил как-то со сна, разбуженный непринужденностью шуркиных импровизаций, и не отходил его подтяжками по чему попало.

Если верить «фонограмме», Шурик изворачивался вокруг отца, как мог. Дипкурьер пытался слегка отстранить сына, чтобы не стегнуть по себе, а Водородик, напротив, активно сближался с папашей, хватая того за руки. Так образовалось новое соединение, которое по всем правилам химической номенклатуры следовало бы назвать *гидридом дипкурьера.* Соединение это, лишенное вкуса, запаха и металлического блеска, вопило

[21] **Горка** – здесь: пирамидальный шкафчик для дорогой посуды.

однако со страшной силой. К счастью, оно оказалось неустойчивым и скоро распалось на элементы. Один из них (а именно Водород) моментально испарился и прямо перед носом у Филиной захлопнул за собой дверь коллегиального туалета.

– Шурик! Я – последняя, – удивилась ветеранша. – Почему без очереди?

– Глафира Поликарповна, предупредите: я за вами! – выглянула из своей комнаты Nadin.

– Вы – за Шуриком, я первая подошла.

– Но ведь Шурик уже там…

– Безобразие! Сейчас отца позову. Выходи, слышишь?

– Не могу, – голосом атлета, выжимающего десять пудов[22], отозвался Водород.

– Вот я те щас покажу «не могу»! Вот я те щас покажу… – твердо обещал курьер, сотрясая дверной крючок. Тот соскочил, и сын с отцом снова обнялись после недолгой разлуки. На сей раз вновь образовавшийся гидрид бурно прореагировал со спущенной водой и, не распадаясь, а только дрыгая во все стороны свободными связями, продиффундировал восвояси.

– Ишь, какой барчук выискался! – заметила коллега Филина. – Ему бы на каждую семью по туалету, чтобы утонуть в роскоши. Буржуй! И свет за собой не погасил…

– Подождите, Глафира Поликарповна. Сейчас моя очередь, – подоспела Nadin. – Вы же сами сказали, что я за Шуриком…

– Шурик влез без очереди, а вас я не пропущу!

– Ну, и не надо.

– Вот и все.

– Подожду.

– То-то же.

Между соседками затеялась любимая у женщин игра: «Кто оставит за собой последнее слово?»

– Мне не к спеху, – известила оппонентку Надежда Петровна.

– Существует порядок, – ответственно, как депутат, резонировала Глафира Поликарповна уже из-за двери.

– Еще позвонить успею, – произвела утешительный маневр Nadin.

– Вот и звоните, куда вам надо, – сделала свой ход Филина.

– Да вот уж у вас и не спрошу, куда мне звонить…

---

[22] **Пуд** – мера веса, равная 16 кг.

Тем не менее, Конкина оставалась на месте. Что-то удерживало ее, подсказывало: не уходи, не уходи… Она чувствовала, что дебаты мешают депутатше справляться со своими основными обязанностями, и, хотя в интересах Надежды Петровны было поскорей выдвинуться самой, захотелось не просто отозвать коллегу досрочно, а полностью предотвратить осуществление ее ближайших перспективных планов.

– Глафира Поликарповна, вы там живы? – заинтересованно полюбопытствовала Nadin.

– Отойдите от двери, – сурово ответила Филина, шурша решениями очередного «внеочередного» Пленума ЦК КПСС и будучи уверена, что ее регламент еще далеко не исчерпан.

– Не грубите! – возвысила голос Конкина, обратившись за поддержкой к хронологии. – Я тут испокон века живу, а вы только три года как въехали.

– Вы мне мешаете, – признала свое поражение Глафира.

Удовлетворенная Nadin пошла звонить, проявив свойственное ей в таких случаях человеколюбие. Сдавшихся она всегда щадила. Даже женщин.

А Гоша тем временем занялся разучиванием натурального мажора, поднимая настроение отцу с матерью и сбивая меня, худо-бедно справлявшегося уже с натуральным минором. Такая эмоциональная противофаза сложилась только из-за того, что наша «Украина» образовалась раньше курьерской, а потому, если я, «*дольче глиссандо*» (*нежно скользя*) спускался по клавишам, то Сверчков-Младший «*квази уриозо*» (*как бы исступленно*) начинал молотить за стеной в четыре руки с подоспевшим Шуриком. А если Георгий «*лакримоза деларозо*» (*слезно, с тоской*) взывал ко мне из-за бумажных цветочков на стене, я «*помпозо мистериозо*» (*величественно и таинственно*) отвечал на его мольбы, переходя на «*порландо морморандо*» (*ворчливый стариковский говорок*), чуждый как слезной тоски, так и *певучей жалобности* («*констабиле ламинтабеле*»).

В конце концов, годы испытаний закалили нас до такой степени, что каждый, слушая чужое, мог играть свое с не выключенным радио и говорящим телефоном. Ни Гошу, ни меня композитор Сергей Сергеевич Прокофьев не смог бы провести так, как он провел одного господина полковника.

Вот эта история, изложенная самим рикошетником Прокофьевым:

«В одно сухое осеннее утро я шел на репетицию, звонко отстукивая каблуками по пустынному тротуару. Из бокового переулка появился полковник и, позвякивая шпорами, пошел сзади меня. По военной привычке, чувствуя мой мерный шаг, он попал в ногу со

мной и в течение некоторого времени топ-топ-топ моих каблуков сливались с дзинъ-дзинь-дзинь его шпор… Я это заметил; мне сначала понравилось, а потом захотелось пойти синкопой[23]. Я задержал ногу на полшага и дальше пошел нормально, попадая как раз посередине между позвякиванием его шпор. Получилось топ-дзинь-топ-дзинь-топ. Полковник, который, вероятно был занят собственными мыслями, вдруг заметил, что идет не в ногу, и выправился, но я уже уловил игру и одновременно с его перестройкой сам перестраивался на новую синкопу. То обстоятельство, что он никак не может попасть в ногу, видимо, стало раздражать его: шпоры зазвякали нервнее, я услышал несколько перестроек с топаньем подошвы, затем шпоры зазвучали слабее и откуда-то сбоку. Я покосился в ту сторону, и увидел, как полковник по диагонали пересек улицу и ушел на противоположный тротуар».

Синкопа оказалась услышанной полковником, поскольку улица была тиха. Мы же с Гошей сбить друг друга такими тонкими ухищрениями не могли, ведь наши «синкопы» тонули в куда более мощных коммунальных эффектах.

– Але! Это Тбилиси? Кто у телефона? Мне Автандила нужно! – кричит в трубку Надежда Петровна. – Это Автандил? Здравствуй! Ты когда же приедешь со своими мандаринами, еж твою клеш?! Мы уж тут заждались. Динка все просит: «Мать, мандаринчиков охота…» Смотри, а то я твою койку сдам. Ко мне Рашид набивается. С Ташкента. Помнишь его? Такой – с золотой фиксой…

– А у нас скоро появятся цитрусовые… – прозрачно кодирует подруге переговоры с Грузией Глафира Поликарповна.

И только глубокая ночь делает тишину в квартире по-настоящему чуткой, такой, что слышен лишь легкий шорох школьного перышка по бумаге. Свет погашен. Горит одна настольная «лампада» под зеленым абажуром. От нее тепло и уютно. Это папа готовится к лекции.

Тш-ш-ш…

3

Ночь, ночь…

Она придает нашей обители облик, полный безмолвия, закутывает ее плотным покрывалом немоты. Прекращаются комические дуэты и трио за стеной. По обеим ее

[23] **Синкопа** – смещение ритмической опоры с сильной доли такта на слабую.

сторонам иссякают каскады обильно льющихся гамм. Умолкает междугородний телефон. Никто, шмыгая шлепанцами, не пробирается на ощупь по коридору. Давно спит Nadin.

Погружается в сон Дина с томом Бальзака, пересыпанным закладками-фантиками на каждой симпатичной ее девичьему сердцу страничке.

Супостат умственного труда – бестолковый дневной шум сдает свои позиции до утра. Тишина обостряет слух и позволяет улавливать то, что днем не уловить.

Вдруг коротко «стреляет» платяной шкаф. Мышка с перепугу ворохается в углу под плинтусом. Вдруг толстая рояльная струна, как бы обрываясь, сама собой подает голос, и гулкий отзвук некоторое время колеблется в воздухе.

За стеной суматошно всхрапывает дипкурьер. Может быть, ему снится кошмар с пропажей дипломатической почты, которую, по слухам, он возит зашитой в специальном поясе на себе.

Весной, когда рамы открыты, и ночная прохлада волнами вливается в комнату, долго-долго дрожит в окне стук каблучков по Курсовому переулку – такой пустынно-отчетливый, такой очаровательно-чуткий…

Потом все заволакивают пеленой густые рассветные сумерки. А в ту самую пору, когда спится особенно беспробудно и сладко, от реки тянутся косые полосы тумана, и уже утром, после шести, с кортов под окном начинает доноситься шум пенящейся водяной струи, свежо и мягко опадающей на песок. Это дежурный поливает из шланга высоким, бьющим в небо фонтаном празднично размеченные оранжево-белые площадки, еще не занятые ранними игроками.

Во входную дверь нашей квартиры несмело звонит молочница, привезшая из пригорода бидон парного молока. Ее телогрейка стойко пахнет хлевом, а молоко она наливает в кувшин через подсиненную марлю. Струя ласково плещет по дну и, увлажняя жирные марлевые соты, тягуче-медленно, сосредоточенно-опрятно наполняет кувшин до самого горлышка.

Под эту музыку я и просыпался.

4

Теннис все чаще отвлекал меня от пианино: чем дольше держал я мяч над сеткой, тем короче делались мои музыкальные вылазки. Одно время мы с Гошей играли в унисон и могли бы разучить что-нибудь в четыре руки на двух пианино. Затем снова возник диссонанс, но на сей раз оттого, что Гоша меня обогнал.

У меня сменилась учительница. Вместо молодой, порывистой, требовательной мадемуазель Мгебровой, иногда от досады шлепавшей меня по рукам крепкой душистой ладошкой, пришла пожилая, уравновешенная, мягкая Елена Михайловна, никогда не делавшая замечаний, а только поправлявшая ученика без тени раздражения. Тем не менее, занятия принимали принудительный характер, но принуждение исходило не извне. Я принуждал себя сам. Из уважения к учительнице. Из неловкости перед домашними. Из нежелания бросать ученье на полдороге, когда маленький сольный концерт стал уже пройденным этапом. Из чего угодно, но только не из душевной потребности.

О, клавиши черно-зеркальной «Украины»! Вас оказалось слишком много на десять моих непослушных пальцев… О, едва тронутое мной по краям безмерно великое поле классики! Ты раскинулось слишком неохватно, ты обескуражило меня своей необозримостью, ты требовало от меня виртуозности, которая казалась мне недоступной, как черта горизонта. Я не смог тебя перейти и потерпел поражение. Я бежал с поля битвы, словно русская армия под Аустерлицем, бросая оружие и теряя боевые знамена. Это было грандиозное отступление. Быстрый и полный разгром.

Единственное, чего мне удалось достичь, так это закрепиться в подвале соседнего дома, где помещался так называемый «Красный уголок» и давал уроки одновременной игры на гитаре всем желающим гитарист Саша, страдавший *от* радикулита и *по* французской киноактрисе Марине Влади. Вечерами в «Уголке» собиралось человек двадцать, каждый бренчал что-нибудь свое, а Саша подсаживался то к одному ученику, то к другому, помогая разобраться в путанице ладов, пальцев, струн и колков.

Переход от «Хорошо темперированного клавира» к «Во саду ли, в огороде», от перцовских – пусть и звукопроницаемых – апартаментов к заваленному перевернутыми стульями и кумачовыми призывами «Красному уголку» – вот мера моего падения. Я сам загнал себя в этот угол. Началась болезненная ломка представлений. Заданная мне со стороны – родителями, учителями, радиопрограммами, грампластинками, – всем взрослым, умным, образованным миром – установка на классику, на лучшее, отобранное поколениями, что есть в мировом искусстве, эта установка не выдержала напора улицы, двора, моей собственной духовной бедности и уступила место дворовой песне, потугам хрипачей, королям рентгеновских пленок, скверной музыке «на костях». Можно сказать, что с той вершины, куда я был вознесен в удобном креслице фуникулера, я скатился вниз, в музыкальную яму, и теперь мне предстояло (или не предстояло) новое восхождение, но

уже самостоятельное, без подъемника – восхождение, каждый шаг которого становился моим личным выбором, определялся моей собственной потребностью, интуицией, волей.

Папа говорил:

– Я понимаю, как работает писатель. Особенно историк-романист. Он много читает, вживается в эпоху, в судьбы героев, делает выписки, заготовки. Потом их обрабатывает, анализирует, беллетризует. Но мне уже трудно понять, как пишет поэт и совершенно загадочен труд композитора. Откуда черпают темы Шостакович, Прокофьев, Хачатурян?

Это спрашивалось, конечно, риторически и не у меня, а у мамы, но при мне. А я не представлял себе не только как создавался вальс к «Маскараду» или сам лермонтовский «Маскарад», – они являлись мне как бы спущенными с небес в уже готовом виде. Я не мог уловить и тайны сотворения простой мелодии, невзыскательной уличной песенки. Вместе с тем чувствовалось, что простое доступно подражанию и постижению. Мелодически воспринятый гитарный перебор волновал, будил воображение. Вспыхивали какие-то отдельные словечки, что-то расплывчато шевелилось в душе, и в этой завораживающей смутности угадывалось нечто такое, чего, в самом деле, нельзя было придумать, что как бы снисходило на тебя само.

Короче говоря, итог моего поражения вылился в то, что я скатился с относительных исполнительских «высот» к абсолютному сочинительскому подножию, причем, к подножию без горы. Ее предстояло возводить мне самому, и один Бог знал, как это делать.

5

Если бы явления жизни строго подчинялись законам симметрии, то через некоторое время Людмила, подобно моей маме, должна была бы принести из ГУМа завернутую в ломкий кофейный крафт[24] ленинградскую семиструнку, а Гоша с положенной задержкой стал бы разучивать «Во саду ли, в огороде», когда я перешел бы уже к «Среди долины ровныя». Переносная симметрия была бы соблюдена во времени. Но жизнь предлагает массу отклонений, случайностей и непредвиденных обстоятельств.

Раз сосед сменил инструмент, то и нам надо предпринять что-то подобное. Это – закон. Это обсуждалось на семейном совете у Сверчковых. Однако результат обсуждения не смог бы предсказать никто.

– Людмила, может, Гошке гитару купить? Пусть учится, как Алеша.

– Зачем же пианино бросать?

---

[24] **Крафт** – оберточная бумага.

– А кто говорит, бросать? Второй инструмент…

– Тогда уж лучше скрипку!

– Скрипку-скрипку… Не люблю я ее! Пиликает очень.

– Да тебя дома не бывает по целым дням: что тебе «пиликает»?

– Я не гуляю. Я деньги зарабатываю!

– Ну, и много ты зарабатываешь? То пропьешь, то потеряешь. Раньше был человеком, в Америку летал. А теперь?

– А что теперь?

– А теперь на «автопилоте» по Соймоновскому носом летишь с получки.

– Людмила! У меня работа нервная. С людьми. Ты в кадрах никогда не сидела?

– Слышать не хочу про твои «кадры»! У тебя все кадры – «на троих».

– Бессовестная!.. Что с тебя взять?

– Соседей бы постеснялся, говорю!..

И вот, когда я от «Во саду ли, в огороде» перешел к «Среди долины ровныя», за стеной у Сверчковых послышалось какое-то странное шебуршение.

Вначале раскрылось нечто тяжелое. То ли чемодан, то ли футляр, но очень большой, на отщелкнутых металлических замочках. Потом оттуда было извлечено, судя по всему, что-то весьма ценное. Вдоль стены – зигзагообразно – задвигался стул, словно ища и не находя себе места. Наконец, воцарилась тишина, и отвратительно-длинное, как кнут, неизвестное, издавая немилосердный скрежет, проскребло по струнному железу.

С таким акустическим эффектом мы столкнулись впервые. О том, что в своей основе он имеет музыкальную природу, можно было только догадываться.

– Что ж ето такое, Пресвятая Богородица? – спросила няня, перекрестившись, как всегда, украдкой.

– Это – виолончель, – ответила за Богородицу мама, остановившись посреди комнаты со стопкой тарелок.

Сказанное, однако, вовсе не означало собственно инструмент. Сказанное означало конец света.

– Неужли ж виланчель? – тревожно спросила Филипповна, отродясь никаких виолончелей не видавшая.

– Виолончель? – оторвался от занятий папа. – Красивый инструмент!

– Особенно у новичка за фанерной стеной, – усомнилась мама.

– Особельно, ежели дите вучиться будить, – добавила няня.

– Жаль, на гитаре смычком не играют, – посетовал папа, обращаясь ко мне. – Сейчас бы ты дал фору виолончелисту!

– Смычком громчей, – согласилась Филипповна.

– Рычаг! – освежил папа знания школьной физики. – Гоша теперь, как Архимед, всю квартиру перевернет нам этим смычком.

И в ответ что-то удивительно громкое и фальшивое хмуро проскребло по ушам.

Идеальный сосед Гоша, ни разу не соблазнившийся на участие в родительской буффонаде, деликатный исполнитель воздушных идиллий за цветочной стеной – неужели ты додумался до этого сам? Какой искуситель вложил тебе в ладонь кнутовище смычка, придвинул к ногам бездонную бочку резонатора, уговорил натянуть на колки медные волосы струн? И как вообще взаимные упреки старших в утрате совести и отсутствии стеснительности породили идею домашнего «виолон-чудища»?

– Але! Это Ташкент? – допытывалась у телефона Nadin. – Ты, Рашид, что ли? Але! Плохо слышу… Да у нас тут сосед на виолончели учится… Рашид, ну, ты едешь или нет со своими дынями, еж твою клеш?! Я говорю: тебя когда ждать? А то ко мне Автандил просится с Тбилиси. Помнишь его? Видный такой… С мандаринами. Я боюсь, как бы вы вместе не нагрянули. Где мне вас тогда укладывать? Что?.. Дынька? Какая дынька? Ах, Динка! А то «дынька-дынька»… Хорошо Динка. Десятый кончает. Одно плохо: учеба туго идет. Математика замучила. Аристарх говорит, у ней памяти нету ни грамма, а сама в артистки хочет. Бальзака учит день и ночь. Уж худая вся, иссушилась. То математика, то эта – как ее? – репетирывает…

– Мама, ты долго будешь обо мне всему свету трезвонить? – проходя на кухню, спрашивает Дина – смышленая, упитанная девушка с неплохим слухом и отличной памятью.

– Ничего-ничего, ты у меня еще не артистка, а уже в Средней Азии известная! По-мой полы. Я на работе намылась… Да ну тебя, Рашид! Ничего ты литературу не знаешь. Приезжай, хоть Динку мою послушаешь… Тряпку-то на кухне возьми… Узнаешь, кто такой Бальзак был… Да иди ты со своим Джамбулом!.. Они же в разное время жили. Теперь понял? Слушай! Мне капитан все какой-то названивает с Владивостока, еж его клеш! Это не ты ему мой телефон дал? Нет? Может Автандил?.. Не знаешь?.. Ну, ладно. Прощаюся. Больше некогда.

– Динка, полы помыла?

– Я что – метеор?

– Вот тебе и Ташкент… Дыни поспели, а самолет не летает! В Москве, говорят, туман, не видно куда садиться. С неба Москвы не видать. Эх!.. Глафира Поликарповна, вы дыньку давно не брали?

– Я дынь вообще не ем. И ананасов. У меня закваска пролетарская.

– А я люблю!.. Ну, звоните, звоните, если вам надо…

И по проводу течет новая «глафирограмма»:

– …Так что живем, как в тумане. Никак не дождемся антициклона из Каракумов…

6

Днем, когда в квартире никого нет, коридор занят мной. Я гоняю мяч в спортивных паузах между занятиями. Все двери плотно закрыты. Мой стадион темен и нелюдим. Коллега Филина, как рыбак с пустой «авоськой», поплыла в сберкассу открывать счет. Водород на продленке. Виолончель в футляре.

Я разыгрываю матч века между командами двух сторон коридора. Всего в квартире одиннадцать жильцов, так что и сокращенный состав приходится доукомплектовывать «варягами».

Наша команда

Вратарь – Гошка.

Защита – Людмила, мама, Филипповна.

Полузащита – гидрид дипкурьера.

Нападение – я и папа.

Их команда.

Филина – вратарь-гоняла

В защите – Динка, Автандил (Тбилиси), Бальзак (Париж).

В полузащите – Рашид (Ташкент), Джабаев (Алма-Ата).

Нападение – Nadin, капитан (Владивосток).

Судья – Куприн (Москва).

У них испытанный вратарь-гоняла и сборная всех звезд. Главное – кто кого держит. Пока в темноте не разобрать. Время покажет.

Мяч введен в игру. Автандил, отклонившись назад, идет по левой, филинской стороне коридора, вместе с мячом подталкивая впереди себя коленками огромный

чемодан с мандаринами. Пяткой передает мяч Бальзаку. Французский футболист смотрит, кому отдать, и пасует вдоль коридора Джабаеву. Но ветеран к мячу не успевает… Его перехватывает Водород. Остро реагируя на мяч, Водород проходит одну дверь, вторую… Запутался в коврике перед порогом…

Первое удаление. За вбрасывание из-за боковой дыни вместо мяча с поля удален узбекский форвард Рашид.

Филина не согласна. Она вступает в пререкания с арбитром и… и кажется получает желтую… Сейчас… Да! Желтую фотокарточку с индустриальным пейзажем Куприна. Это – предупреждение.

Мяч в игре.

Наигранная комбинация Динка–Бальзак. Удар! Мяч рикошетит между стенами. Джамбул – длинный пас на Филину.

Вратарь-гоняла – неувядаемая Глафира Филина, набирая скорость, устремляется к воротам Георгия Сверчкова! Теряя шлепанцы, выставив руки вперед, она, как по маслу, проходит гидрид дипкурьера. Надо пасовать открывшейся Nadin. Но вместо этого Глафира Поликарповна спотыкается на том же коврике и упускает мяч… Где он? Никто не видел? А-а! Закатился под ванную.

Сразу три ноги пытаются выковырять его оттуда. Но пока это еще никому не удавалось. Слишком темно и тесно.

Nadin неожиданно включает свет в ванной. Глафира Поликарповна немедленно его гасит. Разногласия в команде не способствуют успеху.

Ситуация обостряется. Выключатель переходит из рук в руки. Арбитр Куприн требует, чтобы все освободили помещение.

Мяча там нет. Там только закатившаяся под раковину дыня, а мяч в руках у выбывшего из игры Рашида.

Вбрасыванье. Все бегут к воротам Филиной. Папа – старый спартаковец навешивает мяч на ворота.

Свалка перед телефоном. Все абоненты тут: Nadin, Владивосток, Динка, Тбилиси… Чемодан, распахиваясь, падает из рук Автандила, мандарины рассыпаются по полю…

Ну?! Кто же будет бить?!

И тогда я, набегая из глубины коридора, несильно, но точно посылаю мяч в сетку вернувшейся из сберкассы Глафиры Поликарповны.

Счет открыт.

А вечером узкое и длинное футбольное поле коридора превращается в такую же узкую и длинную сцену. Когда, отужинав, соседи укладываются на боковую, Дина раскрывает третий том собрания сочинений Бальзака, новеллу «Обедня безбожника», которую готовит к экзамену в театральное училище, и выходит на коммунальные подмостки.

– Оноре де Бальзак. «Обедня безбожника». Композиция по новелле, – объявляет абитуриентка.

– Доктор Бьяншон долгое время был хирургом, – тщательно артикулируя, начинает свою каватину Надежда Аристарховна. – В студенческие годы он работал под руководством прославленного Деплена, одного из величайших французских хирургов, блеснувшего в науке, как метеор.

– Как метеор… – повторяет понравившееся ей сравнение Дина. – Даже враги Деплена признавали, что он унес с собой в могилу свой метод, который невозможно было передать кому-либо другому, – с чувством продолжает чтица. – Как у всех гениальных людей, у него не оказалось наследников: он все принес и все унес с собой…

– Он унес, и ты заканчивай, – просит мать, приоткрыв дверь. – Спать пора.

– Подожди, мам. Я репетирую.

Дина рада, что выбрала эту новеллу: она сюжетна, в ней много верных жизненных наблюдений.

– Слава хирургов напоминает славу актеров: они существуют, лишь пока живут, а после смерти талант их трудно оценить. Актеры и хирурги, а также, впрочем, великие певцы и музыканты-виртуозы, удесятеряющие своим исполнением силу музыки, все они – герои одного мгновения. Судьба Деплена служит доказательством того, как много общего в участи этих мимолетных гениев…

Дина еще в таком возрасте, когда хочется говорить о самом высоком, недоступно-прекрасном. А потом это так приятно и так печально думать, что даже гении мимолетны, что даже их слава быстротечна и почти всегда существует лишь до тех пор, пока живы они сами. В семнадцать лет понятие жизненной черты – только фигура речи, ведь твой собственный итог кажется таким неправдоподобно далеким, что лишь томная меланхолия и философическая смиренность ласково овевают тебя краями своих нерасторжимых крыльев.

Людмила сказала, что у Дины есть талант, а таланту в искусстве трудно пробиться. И Дине снова приятно и печально. Да, есть… Да, трудно… Может быть, неисполнимо! Но

надо пробовать. И она мечтает о большой трагической роли. И проходит по темной сцене от Глафиры к Сверчковым мимо нашей стены, читая монолог Деплена, обращенный к Бьяншону так, как будто Деплен адресуется к ней.

– У вас есть талант, мое дитя, и вы скоро узнаете, какую страшную, непрестанную борьбу ведет посредственность с теми, кто ее превосходит. Проиграете ли вы вечером двадцать пять луидоров – на следующий день вас обвинят в том, что вы игрок, и лучшие ваши друзья будут рассказывать, что вы проиграли двадцать пять тысяч франков… Вырвалось ли у вас какое-нибудь резкое слово – и вот уже вы человек, с которым никто не может ужиться. Если в борьбе с этой армией пигмееев проявите и силу и решительность, ваши лучшие друзья завопят, что вы не терпите никого рядом с собою, что вы хотите господствовать, повелевать. Словом ваши достоинства обратятся в недостатки, в пороки, и ваши благодеяния станут преступлениями…

– Динка! Если ты сейчас же спать не ляжешь, я дверь запру. Ночуй тогда на колидоре со своим Бальзаком!..

– Ну, иду-иду… Порепетировать не дают.

Репетиция прерывается.

Сейчас я думаю о том, почему в ранние годы мы так охотно драматизируем жизнь, а свет ее радости пропускаем через себя как бы незамеченным? Радость представляется в юности чем-то поверхностным, бездумным, беспечным. Отсюда тяга к трагичному, роковому. Но это происходит оттого, что юность просто не в силах осознать всю животворящую неисчерпаемость счастья.

8

Пока я с увлечением осваивал гитару, за стеной с не меньшим упорством длились виолончельные бдения.

Визг и скрежет слесарной мастерской постепенно преображались. Стон вытягиваемых из тугой доски ржавых гвоздей; хруст стекла, крошащегося под алмазом; раж тупой ножовки; металлическая хватка пассатижей претворялись в нечто более музыкально организованное. Мучитель-смычок уже не столь пронзительно пилил по верхним струнам или, жирно треща и переламываясь, тормозил на басах, сколько проскальзывал, как наканифоленный, издавая прирученные звуки, насыщенные густой тембровой окраской. Иногда они приобретали очертания вечереющего луга, наполненного приглушенным шмелиным гуденьем. В них появилось что-то живое, гибкое, серьезное, почувствовался какой-то отдаленный зов.

Той осенью у нас на подоконнике перед приоткрытой рамой долго-долго стоял букет из одиннадцати белых хризантем. Однажды его навестил настоящий шмель. Бог весть, откуда взявшийся, он кружил над цветами, вторя голосу виолончели, может быть, принимая ее за другого шмеля, и никак не желал улетать.

Его спугнул только стук молотка. Мама решила отделить часть комнаты шторкой. Для этого надо было вбить гвоздь в сверчкову стену. С первого же удара гвоздь влетел в нее по самую шляпку и, видимо, выскочил острием у курьеров. Мама потянула его назад. Он легко, без уговоров выдернулся вместе с бумажной начинкой.

– Вот вам и фанера… – сказала мама обескуражено.

– Неужли не хванера? – спросила Филипповна. – Дак, что ж тогда?

– По-моему, картон клееный или что-то в этом роде… Боже мой, стена-то бумажная…

– Как в японской хижине, – отозвался папа, прошелестев газетой.

– Картон он и есть картон, – заметила Филипповна. – Одна слава, что – картон! А так – бумага…

Дырочку от гвоздя временно залепили пластилином, что дало папе повод снова пошутить:

– А представляете, если бы вся стена была пластилиновой? Прислонился и влип!..

– Шурик бы живо дырок напротыкал, – обоснованно предположила няня. – Се-таки картон лучше пластилина. Спасибо, Гоша уж не больно стал докучать своей виланчелью. Вывчился. Скоро артист будет, чтоб по радиву слыхали.

– Интересно, а стена в коридор тоже бумажная? – спросила мама.

– Давай спытаем.

– Нет, уж лучше не испытывать…

За коридорной стеной раздалось знакомое шмыганье. Это Глафира Поликарповна возвращалась из удачного похода в ванную, что-то напевая про себя после душа. Может быть, в манере народных сказителей? Кто знает…

– Вот я из ванной иду по коридору к себе.

Далалай-далалай!

Света не жгу.- Электричество я экономлю.

Вот уж Сверчковых прошла, и Nadinки шумят позади.

Далалай-далалай!

У телефона теперь постою, как Рашид на бахче.

~~ёмен~~Темен и долог мой путь.

Далалай-далалай!

Но в перспективе – кумыс.

Хорошо, хорошо мне!

Тут Глафира Поликарповна спотыкается и оглашает квартиру кипучим экспромтом:

– Что такое? Что за безобразие? Кто подложил? Это – диверсия. Я чуть не упала!

Все двери разом распахиваются. В коридоре вспыхивает свет.

– Глафира Поликарповна!

– Что случилось?

– Вы живы?

– Откуда дыня?

– Это я вас хочу спросить, Надежда Петровна! Почему дыни в общественном месте разбросаны? Это вы вели переговоры с Ташкентом. Это ваша дыня!

– Откуда у меня дыням быть? Рашид еще не приехал. Все видят! Я его не прячу.

– Ничего не знаю! Упала бы – платили бы мне компенсацию.

– Может, это мальчишки в футбол играли?

– Дыней?..

– Да они, чего хочешь, гоняют: и банки, и тряпки… Акулина Филипповна, не ваша дыня?

– Помилуй Бог!

– Людмила, не вы дыню в коридор положили?

– Да что вы!

– Раз она ничья, так давайте ее вместе и разъедим! – внесла предложение Дина.

– Я ни дынь, ни ананасов не ем. И рябчиков не жую. Не та закваска! – подтвердила устойчивость своих вкусов Глафира Поликарповна.

Тем не менее, Дина вымыла никем не опознанную дыню, разрезала на ломтики и предложила всем желающим. Первой попробовала мать.

– Похоже, со Средней Азии. Сахарная.

Шурик ухватил было два ломтя сразу, но курьер так на него взглянул, что Водород немедленно угостил Филину.

Та отказывалась. Ее уговаривали. Ведь это же она дыню нашла! Ладно, согласилась. Выяснилось, что и до этого «куштевала». Знает толк. Сравнила с

астраханской, молдаванской, кавказской. Отдала предпочтение Нижнему Поволжью, но приняла и добавку.

После десерта Людмила пригласила собравшихся к себе на небольшой концерт камерной музыки.

Гоша играл что-то очень умное долго и выразительно. Казалось – еще немножко и он научит виолончель по-настоящему рыдать.

На следующий день, когда в квартире никого не было, и я подумывал, а не погонять ли мне по старой памяти какую-нибудь «дыньку» в коридоре, что-то меня привлекло, точнее, окликнуло, но окликнуло не снаружи, как обычно, а изнутри. Да, это был внутренний оклик, некое видение… Сумерки, лес, последние блики теплого солнца на еловых ветвях… И я ощутил себя в этом волшебном лесу совершенно реально.

Не могу сказать, как долго длилась греза, потому что время для меня остановилось. Но когда я очнулся и снова увидел все, что меня окружало: букет хризантем на окне, зеленую лампу, пианино и услышал голоса в коридоре и у Сверчковых, я обнаружил перед собой тетрадный листок и десяток строчек на нем – таких слабых, таких беспомощных, что их никак нельзя было бы принять за стихи, однако тогда они показались мне необыкновенными. Сосредоточенная тишина, воцарившаяся во мне, была настолько глубокой, что внешний шум долго еще не мог ее нарушить.

Потом это иногда повторялось.

Теперь я об этом рассказал.

9

В доме Перцова – учреждение.

Никто из моих героев там давно не живет, а иные живут только в строчках памяти.

Когда я прохожу по Курсовому переулку, то порой наше окно бывает приоткрыто, и ничто на свете не мешает мне увидеть на подоконнике все тот же букет хризантем. Только цветов в нем уже не одиннадцать. Меньше.

Цветок – Глафире… Цветок – курьеру… Цветок – папе… Цветок – Филипповне… Цветок – маме…

А над теми, что остались, по-прежнему задумчиво и счастливо гудит и гудит хмельной осенний шмель, и протяжный зов виолончели вторит ему за бумажной стеной…

…ТОГДА ЖЕ

…Было время, когда наша соседка Nadin, уборщица из академии Фрунзе, врожденная Солоха, задумала сдавать на ночь «грузинам» комнату, в которой жила сама. Вечером туда, а утром обратно по коридору не без смущенья засновали южные мужчины с коротко стрижеными усиками и огромными черными чемоданами, а сквозь щелку в двери, как путеводный маяк, им светил глаз темпераментной уборщицы. Квартира выразила ей свой протест.

…Однажды Гришка Горняк – крепкий, румяный малый хлестался в подъезде со своею мамашей в проеме между двумя дверьми, тонкими творениями русского модерна. Он – молча, она – вопя на всю округу. Они били друг друга по щекам, а поскольку каждый мечтал оставить последнюю пощечину за собой, никак не могли остановиться. Разнять их звали отца – полковника в отставке, но он предпочитал гонять шары на бильярде Дома ученых и не вмешиваться в семейные отношения, прерывая честную ссору лицемерным перемирием.

…Тогда же на парадной лестнице мне встречался пожилой, благообразный господин с седой бородкой клинышком, как у премьер-министра Булганина, и непременно в шляпе – фетровой или соломенной. Зимой он носил меховой «пирожок», похожий на большую пилотку. Я знал, что это пейзажист Александр Куприн из дореволюционного общества художников «Бубновый валет». Маме хотелось думать, что он – родной брат ее любимого писателя. Позже выяснилось, что это маловероятно по двум причинам: во-вторых, писатель тоже был Александром. Вряд ли в одной семье двух сыновей назвали бы одинаково. А во-первых, папу писателя звали Иваном, а папу художника – Василием. При встрече Александр Васильевич всегда улыбался мне и со старомодным почтением приподнимал за тулью шляпу или «пирожок». Однажды он пригласил маму и меня в свою мастерскую, где играл нам на крохотном, старинном органчике что-то бесконечно переливающееся и не имевшее никакого отношения к происходившему вокруг…

…По радио и во всех газетах неожиданно разоблачили «клику Тито» – предателей-ревизионистов. Но еще неожиданней было разоблачение внутренних врагов – предателей-врачей. Стало ясно, что теперь врачам не поздоровится. Потом разоблачили предателей-чекистов во главе с английским шпионом Берией. Потом разоблачили не то, чтобы «Самогó», но культ его личности. Потом с боем взяли Будапешт и разоблачили премьер-министра Венгрии изменника Имре Надя…

…А навстречу мне по лестнице спускался насупленный, погруженный в себя сосед с четвертого этажа – художник Фальк. Он не только не улыбался, но, кажется, вовсе меня не замечал, пока его жена говорила по единственному в доме телефону, стоявшему на юру в вестибюле, и потому не столько говорила, сколько односложно отвечала: «Да… да… Это ужасно!.. Это ужасно!..»

…Было время, когда известное мне семейство бобовых пополнилось новым членом. Всюду появился китайский арахис и всех умиляло то, что в серой сухой скорлупке с перетяжкой посередине умещаются два орешка: не один, а два! К тому же скорлупа легко шелушилась… Народ обувался в китайские кеды, а произносил – «кеты». В моду вошел пинг-понг, и я, не умея играть, учил Филипповну. Китайский фильм «Отрубим лапы дьяволу» поражал революционностью призыва и признанием того, что нечистая сила существует.

…Было время, когда к праздникам готовились загодя. Я терпеливо выстаивал с Филипповной бесконечные очереди в бакалею за рассыпчатой белой мукой, за вязкими кислыми палочками в сероватой обертке, которые няня называла с подчеркнутым ударением: «Дро́жжы!» – и, казалось, что тесто от них должно дрожать. Вместе стояли мы за сахарным песком или творогом не только потому, что меня некуда было деть, но и потому, что на одного человека давали кило, а на двоих – два «кила». Пуще всего очередь начинала бушевать и содрогаться, если что-нибудь ценное заканчивалось, – сахар, мука или те же дрожжи, – а желающих было хоть отбавляй.

– Касса, не пробивайте!

– Пробивайте! Мне уже взвесили…

– Дуся, почему два кила в одни руки?

– Этому не давайте – он не занимал!

– Я занимал, но отошел.

– Все! Последний пакет. Больше нету.

– Ну, и слава тебе, Господи, отмучились…

…Когда-то по всему нашему дому хозяйки ставили тесто в кастрюлях и ведрах, укутывали его одеялами, подвигали ближе к теплу под батареи, чтобы быстрее подходило, и оно начинало свою медленную сдобную работу роста, поднимая крышки и выползая из-под них вязкими желтыми языками. Его осаживали, но упорная дрожжевая сила снова толкала его вверх. Потом в жаркой темноте духовок долго зрели капустные кулебяки; пахучие, пышные пироги с изюмом и орехами или сочным маком, ванилью, корицей, и весь

дом наполнялся знойным, сладковатым ароматом хорошей пекарни, чем-то тропическим, экваториальным.

...Та жизнь ушла. Ушла невозвратно. Но как бы хотелось, чтобы не бесследно, чтобы к приметам, оставленным по себе другими, добавился и твой опыт. Она достойна того, чтобы сберечь ее в памяти, в слове, звуке, краске. Хотя бы потому, что это жизнь – наша. Единственная. Такая, какая была.

СОДЕРЖАНИЕ

Незаметные праздники

ЧАСТЬ I

«Не церковкой бедною…»

Кохвей

На саночках

Ночной зефир

«Гаги»

Лимонная церемония

Между рамами

Конфетку или яблочко?

Индийская радуга

Покупка века

ЧАСТЬ II

«Вечером дети с реки возвращаются…»

Дядя Митя

«Паровозик»

Человеческий голос

Террасы

Божий перст

Титиника

Белая уточка

«Пьяница»

Молоточек

ЧАСТЬ III

Курсовой переулок
Рельсы сходятся
Когда-то…
Знамя, горн, барабан
Камчадал
«Мы идем по Уругваю!..»
Перед лицом своих товарищей
Самосвал
«Девочка с персиками»
Диктант

ЧАСТЬ IV

«Обыденная церковь на горе…»
Обаяние старой Москвы
Бох
Душистый ветер «Шипра»
Уроки произношения
Второе дыхание
Игры на свежем воздухе
Неаполитанская тарантелла
Виолончель за бумажной стеной
…Тогда же